

Вячеслав Михеев

Зазор



Вячеслав Михеев

Зазор

«Автор»

2026

Михеев В.

Зазор / В. Михеев — «Автор», 2026

Что, если ваш мозг принимает решение за полсекунды до того, как вы это осознаёте? Нейробиолог Кирилл находит тому доказательства – загадочный сигнал, предшествующий любому выбору. Его жена Вера с детства слышит голос, который то нашёптывает «ты можешь», то призывает ждать. Под слоем древней фрески она обнаруживает лик Стража – свидетеля вечной борьбы. А следователь Глеб идёт по следу тех, кто доверился голосу и открыл дверь – навсегда. Тот, кто зовёт открыть, называет себя Сопутником. Тот, кто просит подождать, – Страж. Но выбор всегда за человеком. И каждая секунда промедления может стать последней. «ЗАЗОР» – роман о паузе между импульсом и действием, о свободе, что измеряется умением сказать «нет», о мистике нейронов и о любви, которая оказывается единственным ответом на вопросы без ответа.

© Михеев В., 2026

© Автор, 2026

Вячеслав Михеев

Зазор

ЗАЗОР

Роман

Девочка сидела на корточках перед тем, что осталось от сарая.

Если бы кто-нибудь увидел ее в этот час — чужой человек, случайный прохожий, — он, наверное, решил бы, что она молится. Было в ее позе что-то обрядовое: согнутая спина, опущенная голова, руки, сложенные на коленях, — не то замерзла, не то прислушивается. Но она не молилась. Она просто смотрела. Смотрела, как дым встает над пепелищем, густой, маслянистый, не желающий уходить в рассветное небо. Дым был похож на живое существо, которому некуда спешить. Он переваливался через обугленные балки, задерживался в провалах, где еще вчера лежали старые матрасы и разошедшиеся ящики с отцовским инструментом, и только потом нехотя, словно исполнив некий древний, одному ему ведомый ритуал, поднимался вверх и таял в серой, еще не прогретой утренней измороси.

Ей было десять лет, и она впервые в жизни осталась одна.

Не физически — физически вокруг нее были люди. Отец, который ходил по двору и собирал разбросанные вещи — мокрые, в саже, потерявшие смысл. Соседка тетя Клава, которая все еще стояла у забора и повторяла, как заведенная: «Господи, Господи, да как же так, Господи». Пожарные, которые уже уехали, оставив после себя запах мокрой гари и глубокие колеи в огороде. Все они были рядом, но девочка не чувствовала их присутствия. Они были как тени на периферии зрения. Как шум в ушах, который затихает, когда перестаешь обращать на него внимание.

Она была одна, потому что внутри нее что-то сломалось. Не сердце — сердце билось ровно. Не рассудок — рассудок работал ясно, слишком ясно для десятилетнего ребенка. Сломалось что-то другое, чему она не знала названия. Какая-то перегородка. Какая-то стенка, которая раньше отделяла одно от другого — хорошее от плохого, свое от чужого, можно от нельзя. Теперь в этой стенке появилась трещина, и сквозь трещину сочилось что-то темное, теплое, незнакомое. И она не знала, как это остановить. И не знала, хочет ли.

На ней была чужая телогрейка. Телогрейка пахла нафталином, табаком и чужим телом — ее накинула тетя Клава, когда вытаскивала девочку из дома, оттаскивала от окна, в которое она смотрела на огонь. Девочка не помнила, как ее тащили. Она помнила только окно. Окно выходило во двор, и в нем, как в раме, стоял огонь. Сначала робкий, желтый, почти ручной — можно было подумать, что кто-то просто зажег свечу перед иконой и забыл погасить. А потом он вырос. Он перестал быть желтым, стал оранжевым, красным, белым. Он начал дышать. Он начал говорить не словами, а треском, гулом, воем. Он стал живым.

И она смотрела на него. И чувствовала что-то, чего не должна была чувствовать. Что-то, что не имело права существовать в душе десятилетней девочки, которая случайно подожгла сарай. Она чувствовала гордость. Не злую, не садистскую, а какую-то странную, отстраненную

гордость, какую чувствует художник, глядя на законченную работу. «Я это сделала». «Это — мое». «Такого еще никто не делал, и никто не сделает, потому что никто не сможет повторить».

И сразу после этой мысли — голос.

Тебе понравилось.

Она не ответила. Она стояла у окна и смотрела на огонь, и голос звучал у нее в голове, не в ушах, а именно в голове, где-то за лобной костью, в том месте, которое, как она потом узнает, называется префронтальной корой и отвечает за принятие решений. Голос был тихий. Очень тихий. И от этого страшнее. Потому что если бы он был громким, если бы он орал или хохотал, она могла бы сказать себе: «Это не я, это кто-то другой, это наваждение». Но он был тихим. Он был похож на ее собственные мысли. Он маскировался. Он притворялся ею.

Тебе понравилось. Ты стояла и смотрела и хотела, чтобы он горел. Ты не хотела, чтобы его тушили. Ты хотела, чтобы огонь перекинулся на дом. На деревья. На небо. Ты хотела, чтобы все горело потому, что ты любишь красивое. А это было красиво.

Она не ответила.

Ты не хочешь признаваться. Это нормально. Никто не хочет. Но ты знаешь. Ты всегда знала.

Она не ответила.

Мы еще поговорим. Когда ты будешь готова.

И голос замолчал.

Теперь, спустя несколько часов, она сидела на корточках перед пепелищем и думала об этом голосе. Она пыталась понять, был ли он на самом деле. Может быть, ей показалось. Может быть, это просто нервы. Может быть, у всех людей есть такой голос, просто никто о нем не говорит, потому что стыдно. Или страшно. Или и то и другое.

Она сжала в кулаке лупу. Тяжелую, лагунную, с треснувшим стеклом. Лупа была холодной, и холод этот почему-то успокаивал. Он был настоящим. Не то что голос.

Отец подошел сзади. Она не слышала его шагов, он всегда ходил бесшумно, по-охотничьи, хотя никогда не был на охоте. Просто такая походка: осторожная, вкрадчивая, как будто он все время ждал, что земля уйдет из-под ног. Он остановился у нее за спиной и долго молчал. Она чувствовала его взгляд, тяжелый, усталый, не злой. Он не был злым. Он вообще редко злился. Он был из тех людей, которые не выплескивают, а копят. Копят годами, десятилетиями, пока однажды не взорвутся. Или не умрут. Он еще не взорвался. И не умер. Он просто стоял и смотрел на свою дочь, которая сидела перед пепелищем и не плакала.

Он не спрашивал, что случилось. Он, наверное, и так знал. Или думал, что знает. Дети всегда что-то жгут: спички, бумагу, сухую траву. Это нормально. Это возрастное. Не надо делать трагедию. Но он чувствовал, что здесь что-то другое. Что-то не так. Не в пожаре. В ней.

В том, как она сидит. В том, как она не плачет. В том, как она сжимает кулак, и в кулаке что-то блестит — латунь, стекло.

Она всегда была странной. Он знал это с тех пор, как она родилась. Не как другие дети. Другие дети плачут, смеются, просят конфету, разбивают коленки. Она ничего не просила. Она просто смотрела. Всегда смотрела — на него, на мать, на мир. И взгляд у нее был такой, как будто она знает что-то, чего не знают взрослые. Это пугало. Особенно после смерти матери. Тогда он впервые заметил, что Вера не плакала на похоронах. Стояла у гроба, прямая, как струна, и смотрела. А когда он спросил, почему она не плачет, она ответила: «Я не хочу». Ей было семь.

Сейчас ей было десять. Она сидела перед пепелищем в чужой телогрейке, с чужой лупой в кулаке, и не плакала. И он понял: она никогда не заплачет. Не потому, что сильная. А потому, что что-то внутри нее не пускает слезы наружу. Какая-то плотина. Какая-то стена. И он боялся, что однажды эта стена рухнет.

— Ты всегда сначала делаешь, а потом думаешь, — сказал он. Голос его звучал глухо, как будто издалека. — Когда-нибудь ты натворишь такого, что исправить будет нельзя.

Она не обернулась. Она смотрела на угли. Угли были черные, с багровыми прожилками, и по ним пробегали искры, когда ветер налетал с реки. Она думала о том, что отец прав. Она действительно сначала делает, а потом думает. Или не думает вовсе. Она не думала, когда брала лупу. Не думала, когда ловила луч. Не думала, когда сухая трава вспыхнула. Она просто делала. И ей это нравилось.

Вот что было самым страшным. Не пожар. Не то, что сарай сгорел. Не то, что отец мог погибнуть, если бы огонь перекинулся на дом. А то, что ей понравилось. То, что голос сказал правду. А если он сказал правду сейчас, значит, он скажет правду и в следующий раз. И в следующий. И когда-нибудь она не сможет ему ответить. Когда-нибудь она просто кивнет и сделает шаг.

— Я не хотела, — сказала она. Тихо. Без интонации. Как будто констатировала факт.

Отец не ответил. Может, не услышал. Может, не поверил. Он постоял еще немного, вздохнул и пошел к дому. У него были сутулые плечи и старая рабочая куртка с прожженным рукавом. Он шел медленно, как человек, который несет невидимый груз, и с каждым шагом этот груз становится тяжелее. Вера проводила его взглядом. Ей хотелось что-то сказать — что-то, что сняло бы этот груз, что-то, что вернуло бы его плечи в нормальное положение. Но она не знала слов. Она вообще не знала слов для такого. Ее не учили.

Она осталась одна. Дым редел. Небо светлело. Где-то за огородами брехал пес — хрипло, безнадежно, как будто и сам не верил, что его услышат. Вера смотрела на угли и думала о том, что теперь все изменилось. Не в мире. В ней. Она перестала быть просто девочкой, которая случайно подожгла сарай. Она стала девочкой, которая знает о себе что-то страшное. Что-то, что нельзя рассказать никому. Что-то, что придется носить в себе всю жизнь.

Она поднесла лупу к глазу. Треснувшее стекло раздвоило мир. Дым стал двумя дымами. Угли — двумя углями. Небо — двумя небесами. И она подумала: может быть, так и надо жить? Может быть, правда всегда двойится? Может быть, в каждом «да» есть немного «нет»,

и в каждом «нет» есть немного «да», и в каждом хорошем человеке есть немного того, кто смотрит на огонь и улыбается?

Она спрятала лупу в карман. Встала. Отряхнула колени. Пошла к дому.

У порога остановилась. Обернулась. Пепелище дышало. Угли еще тлели тусклыми, багровыми точками, похожими на глаза. Они смотрели на нее без злобы и без жалости. Просто смотрели.

И она сказала вслух — не голосу, не себе, не отцу, а этим углям, этому дыму, этому рассвету:

— Я больше никогда. Слышишь? Никогда.

Никто не ответил. Только пес взвыл длинно, сипло. И ветер прошелестел в голых ветках. И где-то далеко, на краю сознания голос, тот самый, едва слышно, почти неразличимо, как эхо, как вздох, как обещание, прошептал:

— Посмотрим.

Она вошла в дом и плотно закрыла дверь.

Тридцать два года спустя Вера стояла на коленях в монастырском приделе и думала о том, что ничего не изменилось.

Не в мире — мир изменился до неузнаваемости. Изменились дороги, дома, автомобили, телефоны, способы связи, способы лжи. Но внутри нее ничего не изменилось. Все та же плоть. Все та же стена. Все тот же голос, который ждал своего часа. Она научилась с ним жить. Она научилась с ним договариваться. Иногда ей казалось, что она победила. Иногда что заключила перемирие. Но в такие дни, как сегодня, когда дождь зарядил с утра и не думал прекращаться, когда муж ушел на работу с тем странным, отсутствующим лицом, какое бывает у людей, узнавших что-то, чего они не хотели знать, — в такие дни ей казалось, что все это было иллюзией. Что она не победила. Что она просто тянула время. Что битва еще впереди.

Она стояла на коленях на деревянном настиле лесов, и перед ней была фреска. «Страшный суд». Конец XVI века, провинциальная школа, неизвестный мастер. Христос во славе. Апостолы. Ангелы с трубами. Грешники, которых тащат в геенну. И в нижнем ярусе, справа от входа, — фигура беса. Бес был поздний, грубый, почти лубочный — его дописали в XVIII веке, когда старую фреску поновляли, не слишком заботясь о соответствии оригиналу. У него были рога, хвост, оскаленная пасть и глаза пустые, черные, без зрачков. Он тащил за собой грешника, и лицо грешника было пустым, рыбьим, лишенным всякого выражения. Не страх. Не раскаяние. Просто пустота. Просто отсутствие.

Вера работала с этим бесом вторую неделю. Она уже сняла часть позднего слоя с плеча, с половины лица, с груди. И под поздним слоем открывалось другое. Более тонкое. Более древнее. Более страшное. Потому что под бесом был не другой бес. Под бесом был ангел. Или не ангел — она еще не поняла. Но точно не демон. Точно не зло. Что-то другое. Что-то, что не

укладывалось в привычную иконографию, где добро и зло разведены по сторонам, где свет и тьма не смешиваются, где праведники идут направо, а грешники — налево, и никогда не пересекаются. Здесь же все было иначе. Здесь кто-то — художник ли, сама ли жизнь — смешал краски на палитре, и получился цвет, которого не должно быть. Не серый. Не белый. Не черный. А что-то живое. Что-то теплое. Что-то, от чего хотелось отвести глаза — и не получалось.

Она держала в руке скальпель. Самый маленький. Лезвие в три миллиметра, заточенное так, что касание почти не чувствовалось. Она приставила его к краю позднего слоя и замерла. Она ждала. Она всегда ждала, прежде чем сделать движение. Не потому, что боялась ошибиться, боялась, конечно, но не в этом дело. А потому, что в этом ожидании, в этой паузе между намерением и действием, было что-то правильное. Что-то, чему она училась всю жизнь. Что-то, что она пыталась объяснить Кириллу, когда он спрашивал, почему она так долго работает над каждой фреской. «Я не долго, — отвечала она. — Я просто не спешу. Это разные вещи».

Он не понимал. Он был ученым. Он привык к тому, что данные поступают быстро, что гипотезы проверяются за недели, что год — это огромный срок, за который можно совершить открытие. Он не понимал, что бывают вещи, которые требуют десятилетий. Что бывают фрески, на которые уходит жизнь. Что бывают вопросы, на которые невозможно ответить быстро, потому что ответ лежит где-то глубоко под слоями краски, под слоями привычек, под слоями лжи, которую мы говорим себе, чтобы не сойти с ума.

Она надавила. Чуть-чуть. Лезвие скользнуло под край, и кусочек охры отвалился, упал на настил, рассыпался в пыль. Под ним открылся глаз.

Вера замерла.

Глаз был живой. Это было первое, что она подумала. Не «хорошо сохранившийся», не «высокое мастерство исполнения», не «интересный пример провинциальной иконописи». Живой. Он смотрел на нее не сквозь, не мимо, а именно на нее. И во взгляде этом не было ничего потустороннего. Ничего мистического. Ничего такого, о чем потом рассказывают в интервью и пишут в статьях: «Реставратор увидела на фреске чудо». Нет. Взгляд был совершенно человеческий. Печальный. Понимающий. Как будто тот, кто смотрел на нее с фрески, знал о ней все. Знал о пожаре. Знал о голосе. Знал о том, как она каждое утро просыпается и первым делом проверяет — здесь ли он, не пророс ли сквозь плотину, не подобрался ли ближе.

— Кто ты? — прошептала она.

В приделе было тихо. Только дождь барабанил по куполу настойчиво, ритмично, как сердцебиение. Только ветер завывал в щелях. И глаз смотрел на нее, не отвечая, но и не отводя взгляда.

Она отвела взгляд сама. Посмотрела на скальпель в своей руке. Рука дрожала — не от страха, не от холода, а от того странного, древнего возбуждения, которое она не чувствовала уже много лет. От того самого, которое она почувствовала тогда, в десять лет, когда сухая трава вспыхнула под лучом. «Я могу это изменить. Я могу это открыть. Я могу это... уничтожить?»

Нет. Не уничтожить. Сохранить. Она — реставратор. Она сохраняет. Она не разрушает. Она никогда не разрушает. Она дала слово. Она держит слово.

Пока, — прошептал голос.

— Замолчи, — сказала она вслух.

И голос замолчал.

Она продолжила работу. Медленно. Точно. Миллиметр за миллиметром. Она снимала поздний слой, и под ним открывалось лицо. Не бесовское. Не ангельское. Человеческое. Или почти человеческое. Лоб, скулы, губы. Печальный изгиб рта. И глаза — два глаза, не один. Теперь она видела оба. И оба смотрели на нее с одним и тем же выражением. Выражением, которое она не могла расшифровать. Не жалость. Не сочувствие. Не укор. Что-то другое. Что-то, что она видела когда-то давно в чьем-то лице, в чьем-то взгляде, но не могла вспомнить, где и когда.

Она достала блокнот. Старый, в кожаной обложке, с замусоленными углами. Тот самый, который она вела с десяти лет. Открыла чистую страницу и начала рисовать. Рука двигалась сама. Линия за линией — лоб, скулы, глаза, губы. Она не думала о том, что рисует. Она просто переносила на бумагу то, что видела. Но когда рисунок был закончен и она посмотрела на него, ее охватило странное чувство. Узнавание. Не лицо — лицо было незнакомым. А выражение. Она видела его раньше. Много раз. В зеркале.

Она захлопнула блокнот. Встала с колен. Ноги затекли. Она спустилась с лесов и села на скамью у стены. В приделе было холодно, но она не чувствовала холода. Она чувствовала что-то другое — что-то горячее, пульсирующее где-то в солнечном сплетении. Не страх. Не радость. Предчувствие. Как будто она подошла к краю и заглянула вниз, и увидела там не тьму, а чье-то лицо.

— Иногда под дьяволом ангел, — раздался голос.

Она вздрогнула. Настоятель стоял в дверях — старый, грузный, в выцветшей рясе, с красным носом и голубыми, выцветшими от времени глазами. От него пахло табаком и старым деревом. Он смотрел не на нее, а на фреску. На открывшийся лик.

— А иногда наоборот, — добавил он. — Ты не путай, дочка, когда снимаешь. А то снимаешь слой, а там пустота. И что тогда? Кому молиться? О чем просить? Удобно, когда есть кто-то, кого можно ненавидеть. Еще удобнее, когда есть кто-то, кого можно любить. Но что, если там ни того, ни другого? Что, если там просто лицо?

Она не ответила.

— Я видел такие лица, — продолжал он. — В войну. У людей, которые уже все поняли. Они не боятся. Не надеются. Они просто смотрят. И ждут. Чего ждут? Не знаю. Может, ничего. Может, это и есть самое страшное — когда ничего.

Он перекрестился — мелко, почти незаметно, — и вышел. Его шаги затихли в глубине храма. И снова тишина. Дождь. Ветер. И фреска перед ней — с открывшимся ликом, который смотрел и ждал.

Вера открыла блокнот. Посмотрела на рисунок. И написала под ним одно слово: «Страж».

Потом закрыла глаза и попыталась молиться. Но молитва не шла. Вместо слов — лицо. Вместо Бога — этот взгляд. Печальный. Понимающий. Ждущий.

Ты думаешь, ты — это он? — прошептал голос. — Думаешь, ты Страж? Не смей меня. Ты не стоишь на границе. Ты просто боишься сделать шаг. И всегда боялась. В этом вся твоя святость. В этом вся твоя праведность. Не в добре. В страхе.

— Замолчи, — сказала она.

Ты можешь затыкать меня всю жизнь. Но однажды ты устанешь. И тогда...

— Замолчи!

Она не заметила, как встала. Не заметила, как сжала кулаки. Она стояла посреди пустого придела и кричала в пустоту, и голос ее разбивался о каменные стены, о купол, о молчаливые лики святых. И эхо, возвращаясь, повторяло снова и снова: «...молчи... молчи... молчи...»

А потом тишина.

Она села. Дыхание выровнялось. Сердце перестало колотиться. Она посмотрела на свои руки — они дрожали. Она сжала их в замок, как учил ее когда-то мастер по реставрации. «Если руки дрожат, сцепи их. Дрожь уйдет в пальцы, пальцы успокоят друг друга. Это работает».

Он был прав. Это работало. Дрожь уходила. Мысли прояснились. И в этой ясности она вдруг поняла то, чего не понимала раньше. То, что лежало на поверхности, но она отказывалась это видеть.

Голос был не враг. Он был часть ее. Он не пришел извне — он родился вместе с ней. Может быть, он был древним инстинктом. Может быть, тенью, которую отбрасывает душа. Может быть, тем, что делает человека живым — желанием нарушать границы, переступить черту, делать то, чего нельзя. Без этого желания не было бы ничего. Не было бы искусства — искусство всегда нарушение канона. Не было бы любви — любовь всегда выход за пределы себя. Не было бы жизни — жизнь всегда риск.

Но без сдерживания этого желания тоже не было бы ничего. Был бы огонь. Был бы хаос. Была бы смерть.

И вся ее жизнь была попыткой найти равновесие между этими двумя силами. Между Шептуном и Стражем. Между «да» и «нет». Между шагом вперед и шагом назад. И она никогда не знала, кто побеждает. Она знала только, что бой продолжается. Каждое утро. Каждый час. Каждую минуту.

Она взяла скальпель. Поднялась на леса. И продолжила работу.

В это же утро, в сорока километрах от монастыря, Кирилл сидел в лаборатории и думал о том, что мозг врет.

Это была старая мысль, но сегодня она обрела новую, пугающую конкретность. Мозг врет — это было известно давно. Он искажает воспоминания, достраивает картинку, заполняет пробелы фальшивыми деталями, которые кажутся настоящими. Он убеждает тебя, что ты контролируешь свои решения, в то время как решение уже принято где-то в темных, подкорковых глубинах, куда сознание не имеет доступа. Он создает иллюзию «я» — цельную, гладкую, непротиворечивую, — тогда как на самом деле «я» состоит из сотен конфликтующих подсистем, каждая из которых тянет одеяло на себя. Мозг — это парламент, а не монархия. Но парламент, в котором никто не знает, кто на самом деле председатель.

И теперь, глядя на график, он думал: возможно, председателя нет вовсе. Возможно, есть только голоса. И тот голос, который звучит громче всех, который опережает остальные на ноль-семь секунды, — он и принимает решение. А сознание просто подписывает бумаги задним числом. Ставит печать. Говорит: «Я так решило».

— Чушь, — сказал он вслух.

Он сидел в кресле перед монитором, на голове сетка электродов, на запястье — датчик пульса. Он запускал тест снова и снова. Выбор из двух кнопок. Левая. Правая. Без раздумий. По импульсу. И каждый раз, ровно за семь десятых секунды до того, как его палец касался кнопки, на графике возникал всплеск. Маленький. Почти неразличимый. Но он был. И он был стабилен. И он опережал осознанное решение.

Он снял электроды, отложил в сторону. Встал. Прошелся по лаборатории. Четыре шага до окна. Четыре обратно. За окном шел дождь — серый, беспросветный, безнадежный. Машина на стоянке мигала аварийкой. На стекле капли, которые сливались в ручейки, и ручейки бежали вниз, подчиняясь не сознательному выбору, а простой физике: гравитация, поверхностное натяжение, угол наклона.

Он думал: «Я — это ручеек. Я теку туда, куда меня тянет. И думаю, что сам выбираю путь».

Он думал: «Нет, это неправильная метафора. Ручеек не думает. А я думаю. Я осознаю свой выбор. Я могу сказать „нет“. Я могу выбрать правую кнопку вместо левой просто потому, что захотел доказать, что я свободен».

Он думал: «Но откуда берется это „захотел“? Из чего оно состоит? Из каких нейронов, синапсов, молекул? И если оно состоит из них — значит, оно предопределено? Значит, мое „нет“ — это такой же физический процесс, как дождь за окном? Значит, свобода — это просто незнание причин?»

Он остановился у окна. Прижался лбом к холодному стеклу. Закрыв глаза.

Два года. Два года он живет с этим вопросом. С той самой ночи. Дождь был такой же, как сегодня. Мокрая трасса. Свет фар. И фигура на дороге — темная, нелепая, возникшая из ниоткуда. И пауза. Короткая, как вспышка. И движение рук. И удар. И тишина.

Он не помнил, в какую сторону повернул руль. Это было самым страшным. Не кровь. Не смерть. Не суд. А эта черная дыра в памяти. Этот провал между «я увидел» и «я сделал». Как

будто в этот момент его не было. Как будто кто-то другой занял его место, взял управление, сделал выбор и ушел, не оставив записки. И он не знал, что это был за выбор. Он не знал, пытался ли он спасти человека или, наоборот, убить. И он не знал, что хуже. Потому что если он пытался спасти — это была трагическая случайность, несчастный случай, ошибка рефлексов. Но если он пытался убить... Если в ту долю секунды что-то внутри него — не он, не его сознательное «я», а что-то другое, темное, древнее, — если оно посмотрело на человека и сказала: «Давай», и его руки послушались... Тогда кто он? И как с этим жить?

Он открыл глаза. На стекле его отражение. Бледное, размытое, с темными провалами глаз. Он смотрел на себя и думал: «Я ищу ответ в мозге. В нейронах. В графиках. Но, может быть, ответа нет? Может быть, есть только процесс? Ток жидкости по наклонной плоскости? И тогда свобода — это просто красивая сказка, которую мы рассказываем себе, чтобы не бояться?»

Он вернулся к монитору. Открыл файл с результатами. Сорок прогонов. Сорок графиков. И на каждом — этот всплеск. Этот сигнал. Этот голос, который звучал на ноль-семь секунды раньше его «я».

Он приблизил масштаб. Сигнал был не просто пиком. Он был формой. У него была амплитуда, частота, топология. Он был похож на... Кирилл не сразу подобрал слово. На букву. На знак. На иероглиф, значение которого он пока не мог расшифровать. Но он знал: если расшифрует — все изменится. Не в науке. В нем.

— Доброе утро, шеф.

Лаборант. Он всегда входил без стука, всегда стряхивал с плаща капли, всегда пах кофе из автомата и мокрой тканью. Кирилл не обернулся.

— Я перепрогнал тесты.

— Я видел. Сорок прогонов. И что?

— Одна и та же картина. Сигнал за ноль-семь секунды до осознанного выбора. Стабильно. У всех испытуемых.

Лаборант подошел ближе, всмотрелся в график. Сдвинул очки на лоб. Помолчал.

— Это шум.

— Это не шум. Шум не повторяется с такой регулярностью.

— Тогда артефакт. Аппаратный. Или программный.

— Я проверил. Сменил усилитель. Переписал модуль фильтрации. Переставил электроды. Все то же самое.

Лаборант снял очки и начал их протирать — нервный жест, Кирилл знал его давно. Когда лаборант нервничал, он всегда протирал очки. Даже если они были чистыми. Даже если на них не было пыли. Просто ему нужно было чем-то занять руки.

— Тогда это... — он запнулся. — Тогда это не шум.

— Да, — сказал Кирилл. — Это не шум.

— Тогда что это?

Кирилл молчал. Он смотрел на график, и в голове у него крутилась одна и та же фраза. Та самая, которую он не мог произнести вслух. Не потому, что боялся. А потому, что еще не был готов. Потому что слова имеют силу, и, назвав что-то, ты даешь ему жизнь.

— Это кто-то, — сказал лаборант. — Тот, кто знает, чего вы хотите, раньше вас.

Кирилл медленно повернулся.

— Что ты сказал?

— Я сказал: это кто-то, кто знает. Не что-то. Кто-то. Я не знаю, как еще это назвать.

— Ты понимаешь, как это звучит?

— Понимаю. Как бред. Как мистика. Как религиозный экстаз. Я понимаю. Но я смотрю на график и вижу не шум. Я вижу сигнал. У сигнала должна быть причина. Если причина не в аппаратуре и не в программе, значит, она внутри. В мозге. Вас. Меня. Всех.

Кирилл отвернулся к окну. Дождь не прекращался. Машина на стоянке все еще мигала аварийкой. Ветер качал голую ветку липы. И где-то в глубине его собственного мозга, в той самой префронтальной коре, в том самом месте, где рождаются решения, — или не рождаются, а только оформляются, — что-то пульсировало. Что-то ждало. Что-то знало.

— Я его найду, — сказал он.

— Кого? — спросил лаборант.

Кирилл не ответил. Он смотрел на дождь и думал о том, что искать, возможно, придется не в мозге. Не в нейронах. Не в графиках. А где-то еще. Там, где живут вопросы, на которые нет ответа. Там, где живет страх. Там, где живет та ночь — мокрая трасса, свет фар, фигура на дороге. И пауза, в которую он провалился два года назад и из которой не может выбраться до сих пор.

Вечером он вернулся домой.

Он открыл дверь, стряхнул зонтик, повесил плащ. В квартире было тихо. Телевизор не работал, радио молчало. Только с кухни доносился едва слышный звук — ложка в чашке, короткое позвякивание. Вера сидела за столом. Перед ней стоял остывший чай и лежал раскрытый блокнот. Она не писала, просто смотрела на страницу, как смотрят на старого друга, от которого не ждут новостей, но которому рады.

Он вошел в кухню. Она не подняла глаз. Он подошел, поцеловал ее в макушку — мельком, почти формально — и хотел пройти в кабинет. Но что-то его остановило. Какая-то тяжесть в воздухе. Какая-то недосказанность, которая висела между ними уже несколько недель.

— Как прошел день? — спросил он, не оборачиваясь.

— Хорошо, — сказала она. — Я нашла на фреске кое-что.

— Что?

— Лицо. Под бесом. Его переписали в восемнадцатом веке, а под ним — другое лицо. Не бесовское. Не ангельское. Человеческое. Оно смотрит и ждет.

— Чего ждет?

— Не знаю. Может, меня. Может, никого. Может, просто ждет, и в этом весь смысл.

Он обернулся. Она сидела все в той же позе — прямая спина, руки вокруг чашки. Ему вдруг показалось, что она похожа на тот самый лик, который описывает. Печальная. Понимающая. Ждущая. И он подумал: «Она знает. Она всегда знает. Она чувствует то, что я пытаюсь измерить. Она слышит то, что я пытаюсь зафиксировать. Может быть, я просто неправильно ищу? Может быть, ответ не в приборах, а в ней?»

Но он не спросил. Потому что боялся. Потому что если бы она ответила, и ответ оказался бы тем, чего он боится больше всего, — что бы он тогда делал? Как бы он жил дальше, зная, что внутри него — не он? Или — что «он» гораздо больше и страшнее, чем ему казалось?

— Я пойду работать, — сказал он.

— Иди, — сказала она.

Он вышел. Она осталась. Дождь за окном продолжался. Где-то в глубине квартиры, в кабинете, загудел компьютер. Где-то на кухне, над остывшим чаем, женщина смотрела в блокнот и думала о том, что каждый из них сейчас смотрит в свою бездну. И что бездны эти, возможно, сообщаются.

Она перевернула страницу. На чистом листе, в самом верху, было написано ее собственной рукой — но она не помнила, когда написала:

Страж.

И ниже — другим почерком, более мелким, более острым, как будто рука дрогнула:

А если Страж устанет?

Она долго смотрела на эту строчку. Потом взяла ручку и дописала:

«Он не имеет права».

И закрыла блокнот.

Кирилл сидел в кабинете. Перед ним был монитор, на мониторе — график. Маленький всплеск за ноль-семь секунды до осознания. Он приблизил масштаб. Еще. Еще. Теперь всплеск занимал весь экран, и видна была его структура. Он не был хаотичным. Он был упорядоченным. Он был ритмичным. Он был... похож на речь. На последовательность знаков. На сообщение, которое кто-то пытался передать.

— Кто ты? — прошептал он.

График не ответил. Только дождь за окном шуршал по стеклу. Только компьютер гудел. И где-то на кухне, в тишине, женщина закрывала блокнот и гасила свет.

Они легли спать в разных комнатах не потому, что поссорились, а потому, что каждому нужно было побыть одному. И каждый из них, засыпая, слышал голос. Она старый, знакомый, тот самый, из детства. Он новый, незнакомый, тот самый, с графика.

И голоса эти говорили одно и то же.

Ты хочешь знать. Ты всегда хотела. Ты всегда хотел. Просто боялась. Просто боялся. Но однажды ты перестанешь бояться. И тогда...

— Замолчи, — сказали они оба. Каждый в своей темноте.

И голоса замолчали.

До поры.

Понедельник начался с того, что Кирилл не услышал будильник.

Точнее, он услышал, звук проник в сон, и во сне он был не звонком, а сиреной скорой помощи, но мозг отказался просыпаться, и тело осталось лежать, вдавленное в матрас, как камень, который бросили в реку и забыли. Он лежал и смотрел в потолок, и потолок плыл не в прямом смысле, конечно, не галлюцинация, но глаза отказывались фокусироваться, и побелка расплывалась в серое, мутное, неопределенное пятно, похожее на то, во что превратился мир за окном.

Он думал о том, что третья бессонная ночь отличается от второй так же, как вторая от первой. Первая ночь — это почти эйфория. Ты чувствуешь легкость, ясность, пронзительность восприятия, как будто с тебя сняли кожу и теперь воздух касается нервов напрямую. Вторая ночь — это плато. Ты уже не чувствуешь эйфории, но еще не чувствуешь усталости. Ты существуешь в странном, заторможенном режиме, как трансляция с Марса — сигнал идет, но с задержкой. Третья ночь — это когда задержка становится невыносимой, когда между «я хочу» и «я делаю» проходит вечность, и ты начинаешь сомневаться, что «я хочу» вообще принадлежит тебе.

Он перекатился на бок. Вера уже встала, ее половина кровати была холодной, подушка взбита, одеяло натянуто с той аккуратностью, которая была свойственна ей во всем. Она всегда вставала раньше. Она вообще все делала раньше, завтракала раньше, уходила раньше, уставала

раньше. Иногда Кириллу казалось, что она живет с опережением на полсекунды, и эти полсекунды — пропасть, которую он не может преодолеть. Иногда ему казалось, что эта пропасть и есть их брак — постоянное, едва заметное расхождение во времени. Как два маятника, которые запустили одновременно, но один чуть легче, чуть короче, чуть быстрее. Сначала разница незаметна, но с каждым взмахом она накапливается, и через двенадцать лет они качаются уже вразнобой, и только иногда, случайно, их ритмы совпадают, и тогда им кажется, что они понимают друг друга.

Он сел на кровати. Опустил ноги на пол. Пол был холодный, паркет выстыл за ночь, хотя батареи грели. В квартире было тихо, только с кухни доносился звук льющейся воды, Вера мыла посуду или набирала чайник. Этот звук был привычным, якорным: он означал, что мир стоит на месте, что бы ни происходило в лаборатории, что бы ни происходило в его голове. Там, на кухне, есть вода, есть чайник, есть женщина, которая моет посуду, и этого достаточно, чтобы удержаться на краю.

Он встал и подошел к окну. Отдернул штору.

За окном был город. Огромный, раскинувшийся на многие километры во все стороны, он лежал под дождем, как зверь, который промок и смирился. Серые коробки многоэтажек уходили к горизонту — панельные, блочные, кирпичные, старые, новые, совсем ветхие. В хорошую погоду с девятого этажа можно было разглядеть излучину реки и верхушку монастырской колокольни, Вера как-то показала ему, в какой точке горизонта она сейчас работает, и он запомнил, хотя никогда не говорил ей об этом. Сейчас реки не было видно. Не было видно и колокольни. Только серая пелена, только мокрый асфальт, только машины, которые ползли по проспекту, разбрызгивая лужи и мигая габаритами. Капли на стекле сливались в ручейки и бежали вниз, подчиняясь не выбору, а физике. И он снова в который раз за это утро подумал о том, что человек, возможно, устроен так же. Что его решения — это просто капли на стекле. Что свобода — это просто незнание причин.

Он отпустил штору. Ткань колыхнулась и замерла. В комнате снова стало темно. Он прошел на кухню, стараясь не шуметь — по привычке, хотя будить было некого. Вера стояла у плиты, спиной к нему. На ней был старый фланелевый халат с выцветшим узором из виноградных листьев, и волосы были собраны в низкий пучок, который чуть растрепался за ночь. Она варила кофе — не в машине, а в турке, на медленном огне, как варил ее отец, как варил ее дед. В этом была вся Вера: она не признавала автоматизации в вещах, которые требовали терпения. Кофе. Реставрация. Любовь. Все, что имело значение, требовало времени.

— Ты не спал, — сказала она, не оборачиваясь.

Это был не вопрос. Она никогда не спрашивала о таких вещах, она их знала. Кирилл давно перестал удивляться. Может, она слышала его шаги за стеной. Может, чувствовала напряжение в воздухе. А может, и эта мысль впервые пришла ему в голову, может, она видела тот самый сигнал? Не на графике, не в данных, а как-то иначе, так, как чувствуют смену погоды старые раненные или как животные чувствуют приближение землетрясения. Может, ее мозг тоже улавливал этот всплеск, этот импульс, этот голос, но не анализировал, а просто... знал?

— Я работал, — сказал он.

— Ты работал всю ночь. Третью ночь подряд. Это не работа. Это что-то другое.

Она повернулась. В руке у нее была турка, старая, медная, с оловянным покрытием внутри, привезенная откуда-то из Армении еще в советские времена. Она держала ее за длинную деревянную ручку, и пар поднимался над горлышком густой, ароматный. Она смотрела на Кирилла и ждала.

Он сел за стол. Потер лицо ладонями. Щетина кололась, он не брился вторые сутки. Под глазами, он знал, залегли тени. Он был похож на человека, который провел ночь не за компьютером, а в драке — и проиграл.

— Данные, — сказал он. — Я получил данные, которых не должно быть.

— Что за данные?

— Я не могу объяснить.

— Ты не можешь или не хочешь?

Он поднял глаза. Она все еще держала турку. Пар вился над горлышком, и лицо ее за паром казалось размытым, нечетким — как тот лик на фреске, о котором она говорила вчера. Как его собственное отражение в мониторе. Двоящееся. Неясное. Неизвестное.

— Не могу, — сказал он. — Потому что я сам еще не понимаю. Когда я пойму, я расскажу. Обещаю.

Она ничего не сказала. Разлила кофе по чашкам, ему и себе. Села напротив. Сделала глоток, не сводя с него глаз. И в этом взгляде было что-то, от чего Кириллу стало неудобно. Не осуждение. Не подозрение. Что-то другое, более глубокое, более древнее. Как будто она смотрела не на него, а сквозь него, туда, где внутри его мозга пульсировал маленький электрический всплеск. Как будто она видела этот всплеск. Как будто она знала его имя.

— Ты помнишь, — сказала она медленно, подбирая слова, как подбирают краски на палитре, — ты помнишь, как мы познакомились?

Он помнил. Это было на конференции, двенадцать лет назад. Он выступал с докладом о свободе воли и нейробиологии. Она сидела в первом ряду — единственная женщина среди десятка мужчин — и слушала. Не записывала, не задавала вопросов, просто слушала, и взгляд у нее был такой, как будто она знает что-то, чего не знает он. После доклада она подошла к нему и сказала: «Вы говорите о свободе так, как будто боитесь, что ее нет». Он ответил: «А вы?» И она сказала: «Я знаю, что ее нет. Но я все равно живу так, как будто она есть. Это называется вера».

— Помню, — сказал он.

— Тогда ты говорил, что свобода — это иллюзия. Что мозг принимает решение раньше, чем мы его осознаем. Что мы — не авторы своей жизни, а просто свидетели. Ты говорил это с таким воодушевлением, как будто открыл новую планету. И я подумала: вот человек, который радуется тому, что он несвободен. Это странно.

— Я не радовался. Я просто констатировал факт.

— Нет. Ты радовался. И знаешь, почему? Потому что если свободы нет, то нет и ответственности. Если ты не выбираешь, ты не можешь быть виноват. В этом была твоя радость, Кир. В оправдании. Ты хотел оправдаться — еще до того, как совершил что-то, что требовало оправдания.

Он поставил чашку на стол. Она стукнула о блюдо — резко, как точка в конце предложения.

— Ты говоришь об аварии.

— Я говорю о тебе. О том, что ты делаешь сейчас. Ты сидишь ночами, ищешь что-то в данных. Ты думаешь, ты ищешь научную истину? Нет. Ты ищешь алиби. Ты хочешь, чтобы кто-то — не ты, а кто-то внутри тебя, какой-то сигнал, какой-то всплеск, — взял на себя ответственность за ту ночь. И если ты найдешь этот сигнал, ты скажешь себе: «Это был не я. Это был он». И тебе станет легче.

Он молчал. За окном шумел дождь. Вода текла по стеклу. Капли сливались и разбегались, и в их движении не было смысла — только физика, только гравитация, только угол наклона.

— А что, если это действительно был не я? — спросил он тихо.

— Тогда ты — не ты. Тогда тебя нет. Тогда ты — просто ток жидкости по наклонной плоскости. И тогда я не знаю, с кем я прожила двенадцать лет.

Она допила кофе. Встала. Поставила чашку в раковину. И вышла из кухни, не обернувшись.

Кирилл остался один. Он сидел за столом и смотрел на свою чашку недопитую, остывшую. И думал о том, что она права. Не во всем, в чем-то она ошибалась, он чувствовал это, но не мог сформулировать, но в главном она была права. Он искал алиби. Он искал оправдание. Он хотел, чтобы кто-то внутри него взял на себя вину за ту ночь. И если этот кто-то существовал, если этот маленький электрический всплеск был не шумом, не артефактом, а голосом, — тогда что? Тогда он должен дать ему имя. Тогда он должен вызвать его на допрос. Тогда он должен спросить: «Что ты сделал тогда, на мокрой трассе? Почему ты повернул руль? И куда ты его повернул — к человеку или от?»

Он допил холодный кофе. Встал. Пошел в кабинет. Включил компьютер. Открыл файл с графиком. Маленький всплеск за ноль-семь секунды до осознания. Он смотрел на него — долго, как смотрят на врага. Или на друга. Или на того, кто может быть и тем и другим.

— Я тебя найду, — сказал он вслух. — Я тебя найду и спрошу. И ты ответишь.

Компьютер гудел. Дождь шуршал. И где-то в глубине квартиры женщина в старом фланелевом халате стояла у окна и смотрела на серое небо, и думала о том же самом. О голосе. Об ответственности. О том, как легко потерять себя — и как трудно себя удержать.

Час спустя Кирилл вышел из дома.

Дождь не прекращался. Он даже усилился, теперь это был не мелкий сентябрьский дождик, а настоящий ливень, какие бывают в середине лета, но никак не в октябре. Вода стояла на асфальте слоем в палец толщиной, и машины, проезжая, поднимали волны, похожие на морские. Прохожие жались к стенам домов, прятались под козырьками остановок, накрывались куртками и пакетами. Кирилл шел пешком, до лаборатории было пятнадцать минут ходьбы, и он любил это время. Утром оно помогало собраться с мыслями, вечером отпустить их. Но сегодня мысли не собирались и не отпускались. Они вились в голове, как осы, и жалили, и от них не было спасения.

Город умывался. Дворники металась по стеклам припаркованных машин, смывая грязь и листья. Листья были мокрые, желтые, скользкие, они лежали на асфальте, как ладони, протянутые вверх. Липы вдоль проспекта стояли голые, черные, и капли стекали по их веткам, как слезы. В такую погоду город казался беззащитным. Обычно он давил масштабом, скоростью, шумом. Но под дождем он затихал, съеживался, становился почти провинциальным. Исчезала столичная спесь, оставалась только мокрая штукатурка, только лужи, только бесконечное небо над головой, низкое, серое, безнадежное.

Он свернул во дворы. Здесь было тише. Дождь барабанил по крышам, по козырькам, по ржавым гаражам, которые стояли тут с незапамятных времен и которые никто не сносил не потому, что они были нужны, а потому, что всем было лень. Во дворе никого не было. Только голуби жались под скамейкой, нахохлившись и недовольно воркуя. Только кошка сидела под козырьком и смотрела на воду, которая стекала из водосточной трубы, струя была неровной, пульсирующей, и кошка следила за ней с тем завороченным вниманием, с каким люди смотрят на огонь.

Он прошел мимо детской площадки, пустой, мокрой, с качелями, которые скрипели на ветру. Мимо трансформаторной будки, разрисованной граффити. Мимо старого тополя, который рос тут, наверное, еще до войны и который каждую осень засыпал двор листьями, а каждую весну — пухом. И вышел на проспект.

Проспект был широкий, шестиполосный, и в обычный день здесь стоял шум, двигатели, гудки, обрывки музыки из открытых окон. Но сегодня шум был приглушен. Машины двигались медленно, как сонные рыбы. Светофор отражался в лужах — красный, желтый, зеленый, снова красный. И в этом отражении было что-то гипнотическое, что-то, что заставляло замедлить шаг и смотреть. Как будто под ногами был не асфальт, а другой город, перевернутый, зыбкий, недостижимый.

Кирилл остановился на переходе. Рядом с ним стояла женщина с коляской — коляска была накрыта полиэтиленом, и под полиэтиленом спал ребенок, не подозревая о дожде. Женщина смотрела на светофор и ждала зеленого. И Кирилл вдруг подумал: а что, если она не хочет переходить? Что, если она хочет остаться? Что, если внутри нее сейчас звучит голос: «Не жди зеленого. Иди. Что тебе сделает этот автомобиль? Что тебе сделает этот мир? Ты же все равно устала». И она стоит и борется с этим голосом, и никто вокруг не знает, какая битва происходит сейчас внутри этой женщины с коляской.

Зеленый. Женщина перешла дорогу. Кирилл пошел следом.

Он думал о том, что каждый человек, которого он видит, возможно, носит в себе такой же голос. И каждый по-своему с ним справляется. Кто-то заглушает работой. Кто-то — алкоголем. Кто-то — религией. А кто-то просто сдается и идет на красный. И никто об этом не говорит. Потому что стыдно. Или страшно. Или и то и другое.

Лаборатория находилась в новом корпусе, который построили три года назад на месте бывшего завода. Корпус был стеклянный, высотный, с панорамными лифтами и пропускной системой. Охранник на входе узнал Кирилла и кивнул, можно было не прикладывать пропуск, но Кирилл приложил, потому что так было правильно. Ему нравилось соблюдать правила. Правила создавали иллюзию порядка. Порядок создавал иллюзию контроля. А контроль — иллюзию свободы.

Иллюзия иллюзий. И так до самого дна.

Он поднялся на шестой этаж. В лаборатории еще никого не было, только кондиционер гудел, только датчики попискивали на стендах. Он включил свет, повесил плащ и сел за компьютер. Монитор загорелся. На экране был вчерашний график. Маленький всплеск за ноль-семь секунды до осознания. Сегодня он казался больше. Или это просто усталость.

Он открыл почту. Среди обычного спама и служебных рассылок было одно письмо, которое привлекло его внимание. Отправитель — незнакомый адрес, в теме — «Диспетчер». Он открыл письмо и прочитал:

«Коллега, вы не одиноки. То, что вы ищете, имеет имя. Мы называем его Проводник. Если хотите узнать больше, приходите в пятницу по адресу...»

И адрес. Какой-то переулок в центре. Без подписи.

Кирилл перечитал письмо трижды. Он не знал, кто это написал. Он не знал, откуда у них его адрес. Он не знал, что значит «Проводник» и почему «мы». Но он знал одно: он пойдет. Потому что любой, кто знает о сигнале, либо враг, либо союзник. И в любом случае он должен его найти.

Он закрыл почту и открыл файл с графиком. Маленький всплеск. Ноль-семь секунды. Сегодня он казался не просто сигналом. Сегодня он казался приглашением.

За окном дождь продолжал падать на город. Город лежал под дождем, огромный, серый, промокший до костей. Он не знал, что внутри него, в одном из его стеклянных корпусов, человек смотрит на график и решается на шаг, который изменит все. Город не знал. Но Кирилл знал. И он решился.

В это же утро Вера стояла на лесах в монастырском приделе и думала о том, что муж врет.

Не злонамеренно. Не из желания скрыть правду. А из страха. Он боялся того, что нашел. И этот страх был ей знаком. Она сама прожила с таким страхом тридцать два года. Она знала его запах, его вкус, его текстуру. Она знала, как он просыпается по утрам и как засыпает по ночам. Она знала, что страх не проходит, он просто затихает, притаивается, ждет. И когда человек находит что-то, что подтверждает его самые темные подозрения о себе, страх поднимает голову и говорит: «А я же говорил».

Она сняла еще один фрагмент позднего слоя. Теперь лицо под бесом было видно почти полностью. Это было мужское лицо — или женское, она не могла определить. Оно было вне пола. Вне возраста. Вне времени. У него были тонкие, почти прозрачные черты, как у святых на византийских мозаиках. Но выражение было не святое. Не благодное. Не отрешенное. Оно было... человеческое. Слишком человеческое. В нем читалась усталость — та усталость, которая приходит не от физической работы, а от долгого стояния на границе. От долгого слушания голоса внутри. От долгого ответа: «Нет».

— Кто ты? — спросила она вслух.

В приделе было тихо. Только дождь барабанил по куполу. Только ветер выл в щелях.

— Ты тот, кто ждет? Или тот, кто искушает? Или это одно и то же?

Лик молчал. Но в его молчании было что-то, что Вера почти понимала. Как будто он говорил: «Ты сама знаешь ответ. Ты всегда знала».

Она подумала о Кирилле. О том, что он сейчас сидит в своей лаборатории и смотрит на какой-то график, и ищет в нем оправдание. И она подумала: «А что, если он прав? Что, если свободы действительно нет? Что, если все наши решения приняты за нас этим голосом, этим сигналом, этим Шептуном? Что тогда?»

Она представила себе мир, в котором нет выбора. Нет ответственности. Нет вины. В таком мире можно делать все, что угодно. Можно поджечь сарай и смотреть, как он горит. Можно вывернуть руль в сторону человека. Можно открыть любую дверь и войти в нее. И не чувствовать ничего, кроме легкости. Кроме освобождения. Кроме страшной, сладкой, невыносимой пустоты.

И она поняла: нет. Нельзя. Даже если свободы нет, даже если все решено за нас, мы должны жить так, как будто она есть. Потому что иначе нельзя. Потому что иначе — огонь. Потому что иначе — смерть.

Она взяла скальпель и продолжила работу. Слой за слоем. Пауза за паузой. «Нет» за «нет».

А за стенами монастыря шел дождь, и город мок под дождем, и где-то в городе мужчина смотрел на график, и женщина с коляской ждала зеленого, и кошка следила за водой из трубы, и голуби жались под скамейкой. И каждый из них, сам того не зная, стоял на границе. И выбирал. Даже если думал, что не выбирает. Даже если думал, что за него уже выбрали.

Кирилл вошел в лабораторию, когда часы на стене показывали без четверти девять. Стрелки замерли, как им и положено, в вечном перемирии, одна почти на востоке, другая почти на севере, и в этом было что-то успокаивающее. Геометрия. Порядок. Предопределенность. Часы не выбирают, им показывать время. Они просто идут или стоят, если села батарейка, и никому не приходит в голову спрашивать, свободны ли их стрелки.

Он сел за стол и включил компьютер. Пока система загружалась, он смотрел в окно. Дождь не прекращался, но изменил ритм, теперь он был не сплошной стеной, а порывами,

как будто кто-то там, наверху, то открывал, то закрывал кран. В просветах между порывами можно было разглядеть соседний корпус, такое же стеклянное здание, и в его окнах отражалось небо. Небо было серым, но в серости этой появились слои: светлее, темнее, совсем темное у горизонта. Вера говорила, что в иконописи серый — это не отсутствие цвета, а смешение всех цветов сразу. Что серый — это полнота, а не пустота. Он тогда посмеялся: «Полнота чего?» Она ответила: «Полнота ожидания».

Теперь он начинал понимать, что она имела в виду.

Система загрузилась. Он открыл файл с результатами и снова, в который раз проговорил про себя последовательность цифр. Сорок прогонов. Сорок графиков. На каждом — всплеск за ноль-семь секунды до осознанного выбора. Амплитуда варьировалась, но незначительно, в пределах статистической погрешности. Частота была стабильной. Топология — почти идентичной. Это был не шум. Это был не артефакт. Это был паттерн. А паттерн означает информацию. А информация означает источник.

Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Перед внутренним взором всплыло то самое письмо. «Мы называем его Проводник». Кто — мы? И почему они называют его так, а не иначе? Проводник — это тот, кто ведет. Тот, кто знает дорогу. Тот, кто берет за руку и говорит: «Иди за мной». Но куда он ведет? И что будет, когда приведет?

Он представил себе человека или не человека, а что-то, что сидит внутри мозга, в темноте, в подкорке, и ждет. Ждет момента, когда можно будет подать сигнал. Не громкий, не властный, а тихий, почти незаметный. Как шепот. Как дуновение. Как мысль, которую ты принимаешь за свою. И ты следуешь за ней. Ты думаешь, что это ты решил. А это решил он. И ты узнаешь об этом только потом, когда уже поздно. Когда сарай сгорел. Когда машина ударила человека. Когда слово сказано и его не вернуть.

Он открыл глаза. В дверях стоял человек.

Это был мужчина лет пятидесяти, сухощавый, подтянутый, в дорогом пальто, с которого еще не успели стечь капли дождя. У него были седые виски и молодые глаза — странное сочетание, которое делало его лицо неуловимо знакомым, как будто Кирилл видел его раньше, но не мог вспомнить, где. Мужчина держал в руке кожаный портфель, старый, потертый, явно дорогой когда-то, а теперь просто старый. Он смотрел на Кирилла и улыбался, не широко, не приветливо, а скорее понимающе, как смотрят на человека, который только что разгадал головоломку и еще не знает, радоваться ему или огорчаться.

— Простите, — сказал мужчина, и голос у него оказался мягкий, обволакивающий, с идеальной дикцией лектора старой школы. — Я не хотел мешать. Ваш лаборант сказал, что можно войти. Я Аркадий Борисович Данилов.

Кирилл встал. Имя было смутно знакомым — где-то он его слышал. На конференции? В журнале? В новостях?

— Кирилл, — сказал он. — Просто Кирилл. Без отчества, если можно.

— Можно, — Данилов прошел в лабораторию и сел на стул для посетителей, не спрашивая разрешения. Он двигался так, как двигаются люди, привыкшие к тому, что им везде рады.

Или к тому, что им все равно, рады им или нет. — Я прочитал ваш препринт о вторичном сигнале. Поздравляю. Это прекрасная работа.

— Вы читали препринт? Мы не публиковали его. Он внутренний.

— В науке нет ничего внутреннего, — Данилов улыбнулся, и улыбка у него была такая же странная, как глаза, — молодая, почти мальчишеская, но с какой-то глубокой, застарелой печалью в уголках губ. — Рано или поздно все становится внешним. Вы же знаете.

Кирилл не ответил. Он смотрел на Данилова и пытался понять, что ему нужно. Люди не приходят в лабораторию в восемь утра без предупреждения, чтобы поздравить с неопубликованной работой. За этим что-то стоит. Что-то, чего Кирилл пока не видел.

— Вы нашли сигнал, — продолжал Данилов. — Вторичный сигнал. Вы назвали его... как вы его назвали?

— Я никак его не назвал.

— Понятно. Значит, вы еще не готовы. Но вы его зафиксировали. Измерили. Доказали, что он стабилен. Что он опережает сознательное решение на ноль-семь секунды. Это серьезно. Это меняет дело.

— Какое дело?

— Дело о свободе воли, — Данилов положил портфель на колени и сложил на нем руки. Пальцы у него были длинные, тонкие, как у пианиста или хирурга. — Мы с вами занимаемся одним и тем же, Кирилл. Только вы подходите к этому как нейробиолог. А я — как философ. Или, если хотите, как практик.

— Практик?

— Да. Я помогаю людям услышать этот сигнал. И научиться с ним жить.

Кирилл почувствовал, как что-то холодное пробежало по позвоночнику — не страх, но его предвестник. Та самая доля секунды перед тем, как осознаешь опасность. Зазор.

— Вы сказали — «услышать». Вы считаете, что сигнал можно услышать?

— А вы разве нет? — Данилов наклонил голову и посмотрел на Кирилла с тем же понимающим, чуть ироничным выражением. — Вы же сами его слышали. Не на графике. Внутри. Вы слышали его, когда принимали решение, о котором потом жалели. Или не жалели, но не могли понять, почему вы его приняли. Слышали, когда стояли перед открытой дверью и знали, что открывать ее нельзя, но все равно тянулись к ручке. Слышали, когда...

— Довольно.

Данилов замолчал. Он не обиделся, не смутился. Просто замолчал, ожидая продолжения.

— Вы знаете что-то о моей жизни? — спросил Кирилл.

— Я ничего о вас не знаю. Кроме того, что вы нашли сигнал. Но я знаю людей. Я изучаю их тридцать лет. И я знаю, что каждый, кто сталкивается с этим сигналом, рано или поздно задает себе один и тот же вопрос: «Кто управляет мной?» И каждый отвечает на него по-своему. Кто-то говорит: «Бог». Кто-то: «Дьявол». Кто-то: «Подсознание». Кто-то: «Инстинкты». Но суть одна: мы не одни в собственном мозгу. У нас есть сосед. И от того, как мы с ним договариваемся, зависит все.

— И как же с ним договариваться?

Данилов улыбнулся — на этот раз шире, и в улыбке этой мелькнуло что-то, что Кириллу не понравилось. Не злоба. Не коварство. Скорее предвкушение. Как у человека, который долго ждал этого разговора и теперь наслаждается каждым словом.

— Я провожу семинары, — сказал он. — Небольшие группы. Закрытые. Для тех, кто хочет узнать больше. Приходите в пятницу. Адрес у вас есть.

Он встал, взял портфель и направился к двери. У порога обернулся.

— И еще, Кирилл. Вы правильно сделали, что не назвали его. Когда даешь чему-то имя, оно получает власть. Но рано или поздно вам придется это сделать. Просто знайте, что имя уже существует. И когда вы будете готовы его услышать, вы его услышите.

Он вышел. Дверь закрылась с мягким, почти беззвучным щелчком. Кирилл остался один.

Некоторое время он сидел неподвижно, глядя на закрытую дверь. В висках стучало. Мысли метались, как испуганные птицы. «Сосед». «Проводник». «Имя уже существует». Он думал о том, что Данилов сказал больше, чем произнес вслух. Что за его словами стояла целая система, возможно, целая философия, и что он пришел не просто поздравить. Он пришел завербовать. Или предупредить. Или и то и другое.

Кирилл встал и подошел к окну. Дождь снова усилился. Вода текла по стеклу, и мир за окном расплывался, терял очертания. Где-то там, в этом расплывшемся мире, человек по имени Данилов шел под дождем и нес в своем потертом портфеле ответы или вопросы, которые он выдавал за ответы. И где-то там, на другом конце города, жена Кирилла стояла на лесах перед древней фреской и смотрела в лицо, которое проступало из-под слоя поздней краски. И где-то там, внутри его собственного мозга, маленький электрический всплеск ждал своего часа.

Он вернулся к компьютеру. Закрыл файл с графиком. Открыл письмо. Перечитал адрес.

Пятница. Он успеет подготовиться. Он успеет подумать. Он успеет решить.

Хотя что значит «решить»? Если Данилов прав, решения не существует. Есть только следование за сигналом. Есть только голос, который знает, чего ты хочешь, раньше тебя. И все, что тебе остается, — это слушать и подчиняться.

Или не подчиняться. Или спорить. Или ждать.

Он выключил компьютер. Встал. Надел плащ. И вышел под дождь.

Монастырский придел дышал сыростью и временем.

Это был особый запах, который не спутаешь ни с чем: смесь старого камня, ладана, плесени и чего-то еще, чему Вера не могла подобрать названия. Может быть, это был запах молитв. Может быть запах страха. Может быть — запах надежды, которая, как и все остальное в этом месте, со временем превратилась в камень.

Она стояла на лесах, на высоте четырех метров от пола, и смотрела на открывшийся лик. Теперь он был виден почти полностью, она сняла поздний слой со всей головы, с плеч, с половины груди. Это был не бес. Это был не ангел. Это был кто-то третий. Кто-то, кто стоял между ними — или над ними. Над схваткой. Над страхом. Над самим понятием греха.

У него было лицо человека, который знает обе стороны. Который был и там, и там. Который слышал голос и отвечал ему, и ответ его был не «да» и не «нет», а что-то другое, чему нет слова в человеческом языке. Может быть, «подожди». Может быть, «посмотрим». Может быть, «я еще не решил».

Она взяла скальпель и продолжила работу. Теперь она снимала слой с руки фигуры. Рука была поднята не в благословляющем жесте, не в указующем, а скорее в предостерегающем. Как будто фигура говорила: «Стой. Не подходи. Дальше — не моя территория».

— Чья же? — спросила Вера вслух.

— Твоя, — ответил голос сзади.

Она обернулась. Настоятель стоял у входа, опять появился бесшумно, как призрак. Сегодня он был без рясы, в старом свитере и стоптанных ботинках, и от этого казался меньше ростом, проще, человечнее. В руке он держал термос и две жестяные кружки. От термоса пахло чаем, крепким, с бергамотом, с тем особым монастырским ароматом, который не спутаешь с городским.

— Чайку? — спросил он.

— Давайте.

Он поднялся по лесам неожиданно ловко для своего возраста и сел на деревянный настил, свесив ноги вниз, в пустоту придела. Вера села рядом. Он разлил чай по кружкам, и они пили молча, глядя на фреску.

— Странное лицо, — сказал наконец настоятель. — Я здесь пятьдесят лет. Мальчишкой еще пришел, послушником. Все стены знаю наизусть. А этого лица не помню. Не было его. Или было, но я не видел.

— Оно было под записью. Его закрасили в восемнадцатом веке. Или раньше.

— Закрасили, значит, — настоятель задумался. — А зачем закрашивают лица? Ты как реставратор должна знать.

— По разным причинам. Меняется канон. Меняется богословие. Меняется мода, в конце концов. Иногда закрашивают, потому что лицо кажется слишком... человеческим.

— Слишком человеческим, — повторил настоятель. — Это как? Человек он и есть человек. Образ и подобие. Что значит «слишком человеческим»?

Вера молчала. Она смотрела на лик и думала о том, что настоятель прав. Человек создан по образу и подобию, так говорили ей в детстве, так говорили в монастыре, так говорили везде, где речь заходила о вере. Но что, если образ и подобие — это не только свет? Что если образ и подобие — это еще и тьма? Что если Бог, создавая человека, вложил в него не только добро, но и способность ко злу? Не как ошибку. Не как поломку. А как часть замысла?

— Может быть, — сказала она медленно, — может быть, лицо закрасили, потому что оно изображало того, кого нельзя изображать.

— Кого же?

— Того, кто стоит между. Кто не выбрал сторону. Кто ждет.

Настоятель долго смотрел на фреску. Потом перевел взгляд на Веру. Глаза у него были голубые, выцветшие, как старое небо над зимним полем. В них не было ни осуждения, ни удивления. Только внимание. Только вопрос.

— Ты говоришь так, как будто знаешь, о чем речь. Как будто ты сама стоишь между.

Вера опустила глаза в кружку. Чай остывал, и на поверхности плавала чайинка — маленькая, темная, похожая на лодку без весел.

— Я всю жизнь стою между, — сказала она тихо. — С десяти лет. Когда я подожгла сарай, я услышала голос. Он сказал, что мне понравилось. И это была правда. Мне понравилось. С тех пор я слышу его. Не всегда. Иногда он замолкает на месяцы. Но он всегда возвращается. И я всегда отвечаю: «Нет». Каждый раз «нет». Но я боюсь, что однажды...

Она замолчала.

— Что однажды? — спросил настоятель.

— Что однажды я скажу «да». Не потому, что захочу. А потому, что устану.

Настоятель кивнул. Он не стал ее утешать. Не стал говорить, что Бог простит, что молитва поможет, что голос — это бес, и его нужно гнать. Он просто сидел рядом, пил чай и смотрел на фреску. И в этом молчании было больше понимания, чем в сотне проповедей.

— Я много исповедовал, — сказал он наконец. — За пятьдесят лет столько людей прошло через этот храм. И почти каждый третий говорил о голосе. Не о голосах — о голосе. Одним. Том самом. Кто-то называл его бесом. Кто-то — слабостью. Кто-то — искушением. Но у всех он был. Понимаешь? У всех.

— И что вы им говорили?

— По-разному. Молодым — что надо бороться. Старым — что надо молиться. Умиравшим — что Бог простит. Но знаешь, что я понял за эти годы? Голос — это не враг. Голос — это часть тебя. Не лучшая часть, не худшая. Просто часть. Как рука. Как глаз. Как память. И бороться с ним — это как бороться с собственной рукой. Можно, конечно. Но рука тебе еще пригодится.

— Тогда что же делать?

— Ждать, — сказал настоятель. — Ты же сама сказала: он ждет. И ты ждешь. Может быть в этом и есть ответ. Не побеждать. Не сдаваться. Ждать. Пока один из вас не поймет.

— Что поймет?

— Этого я не знаю. Может ты. Может он. Может вы вместе поймете что-то, чего я не понимаю. Я старый. Я многого не понимаю. Но я знаю, что ждать — это тоже действие. Иногда — самое трудное.

Он допил чай и встал. Суставы хрустнули. Он поморщился и начал спускаться с лесов, осторожно, ступенька за ступенькой. Вера осталась сидеть.

— Отец Никодим, — окликнула она.

Он обернулся.

— Вы верите в свободу воли?

Он улыбнулся — грустно, почти виновато.

— Я верю в то, что человек может ждать. А все остальное — от Бога. Или от того, кто там, он показал пальцем вверх, но жест вышел неопределенным: не то на небо, не то на купол, не то вообще в пустоту. Я уже и сам не знаю.

Он ушел. Шаги его затихли. Вера осталась одна в пустом приделе. Дождь все еще барабанил по куполу, но теперь ритм его изменился, стал реже, тише, как будто дождь тоже устал и решил подождать.

Она посмотрела на фреску. Лик смотрел на нее, печально, понимающе, ждуще. И она вдруг поняла, что он не ждет от нее ответа. Не ждет «да» или «нет». Не ждет победы или поражения. Он просто ждет. И это ожидание — не испытание. Это дар. Возможность. Зазор между импульсом и действием. Единственное, что у нее есть.

Она взяла скальпель и продолжила работу.

Вечером того же дня Кирилл сидел в баре.

Это был плохой бар из тех, что держатся на трех посетителях и запахе перегара, въевшемся в обивку стульев. Он нашелся сам собой, когда Кирилл вышел из лаборатории и понял, что не хочет домой. Вернее, хочет, он всегда хотел домой, дом был единственным местом, где

он мог спрятаться от себя, но сегодня возвращаться было нельзя. Сегодня там была Вера. И она задала бы вопросы. А у него не было ответов.

Он заказал водку, просто потому, что не знал, что еще заказать, и бармен, пожилой мужчина с лицом, изборожденным морщинами, как старая карта, молча налил ему сто граммов в граненый стакан. Кирилл выпил. Водка обожгла горло и провалилась в желудок горячим комком. Он заказал вторую. Бармен налил. Кирилл пить не стал, просто смотрел на стакан, на то, как свет от лампы преломляется в гранях.

Он думал о Данилове. О его словах. О его манере говорить — мягкой, обволакивающей. О том, как он сказал: «Мы не одни в собственном мозгу». И о том, как он улыбнулся, когда Кирилл спросил про имя.

Имя уже существует.

Какое имя? Чье? Кто дает имена таким вещам? И почему Данилов говорил о нем с такой уверенностью, как будто знал его лично?

— Вы один? — спросил кто-то рядом.

Он обернулся. За соседним столиком сидел мужчина лет сорока, грузный, в старомодном костюме на два размера больше, чем нужно. У него были тяжелые, нависшие брови и руки, которые не соответствовали костюму, большие, с толстыми пальцами, явно знавшие физическую работу. Он держал в руке чашку чая, странно в таком месте, и смотрел на Кирилла с тем выражением, с каким смотрят на старого знакомого, которого не видели много лет, но не уверены, что хотят подойти.

— Один, — сказал Кирилл.

— Я тоже. Можно, я пересяду?

Кирилл пожал плечами. Мужчина пересел вместе с чашкой, блюдцем и салфеткой и сел напротив. Теперь его лицо было видно отчетливее: тяжелая челюсть, глубокие складки у рта, глаза, которые смотрели слишком внимательно для случайного посетителя.

— Глеб Острогорский, — сказал он. — Можно просто Глеб.

— Кирилл.

— Я знаю. Я вас искал.

Кирилл напрягся. Рука сама потянулась к стакану, но он остановил себя. Не сейчас. Сначала — понять, что нужно этому человеку.

— Вы из полиции? — спросил он.

— Следственный комитет. Особо важные дела. Но я не по службе. То есть — по службе, но неофициально.

— Так бывает?

— У меня бывает. — Глеб отпил чаю и поморщился. — У вас есть враги, Кирилл? Я имею в виду, кроме очевидных.

— Что значит — очевидных?

— Ну, есть люди, у которых нет врагов. Это скучные люди. Вы не выглядите скучным. Значит, враги есть. Я просто спрашиваю: может кто-то из них имеет отношение к науке? К вашей работе? К тому, что вы делаете в лаборатории?

Кирилл отодвинул стакан. Водка перестала казаться хорошей идеей. Мысли, наоборот, стали резче, яснее как будто опасность протрезвила его быстрее любого кофе.

— Почему вы спрашиваете?

— Потому что кто-то умер, — сказал Глеб. — И я пытаюсь понять, почему.

Тишина. За окном проехала машина, и свет фар скользнул по стене, высветив трещину в штукатурке. Бармен отвернулся к телевизору, где без звука шел какой-то фильм. Кирилл смотрел на Глеба и ждал.

— Кто умер? — спросил он наконец.

— Человек по фамилии Кравцов. Вам знакомо это имя?

— Нет.

— Странно. Он был в списке ваших испытуемых. Шестеро добровольцев. Вы проводили с ними тесты. Кравцов был седьмым.

— У меня не было седьмого. Их было шестеро.

— Значит, кто-то добавил седьмого без вашего ведома. — Глеб достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и протянул Кириллу. — Это предсмертная записка.

Кирилл развернул лист. Почерк был неровным, дерганым. Буквы напозлали друг на друга, как будто рука писавшего не поспевала за мыслями. Или, наоборот, мысли обгоняли руку.

«Я не хотел. Я просто подумал, что могу это сделать. И мысль была такой... сладкой. Как будто я наконец-то проснулся. Он сказал: „Ты можешь“. И я поверил. Больше никому верить. Мама, прости».

— Он сказал, — повторил Кирилл вслух. — Кто он?

— Я надеялся, что вы мне скажете.

Кирилл перечитал записку. Потом еще раз. Сладкой. Проснулся. Ты можешь. Слова были чужие, но что-то в их ритме, в интонации было знакомым. Как будто он уже слышал их раньше. Не от этого человека. От другого. От многих.

— От чего он умер? — спросил он.

— Повесился. В собственной квартире. Ему было двадцать три года. Студент-физик. Талантливый, говорят. И никаких причин для суицида. Ни долгов, ни несчастной любви, ни диагноза. Только эта записка. И только то, что за месяц до смерти он участвовал в вашем тестировании.

— Он не участвовал в моем тестировании.

— Значит, в чем-то еще. Но тесты те же. «Петля». Нейроинтерфейс. Я навел справки. Вы — главный разработчик. Если не вы его тестировали, то кто?

Кирилл молчал. В голове крутилась одна и та же мысль — не мысль даже, а ощущение. Как будто он стоял на краю, и земля под ногами начинала осыпаться. «Петля». Нейроинтерфейс. Кто-то использовал его технологию без его ведома. Кто-то провел тесты, о которых он не знал. И один из испытуемых умер, оставив записку о голосе внутри.

— Вы знаете, кто это мог быть? — спросил Глеб.

— Возможно, — сказал Кирилл. — Но мне нужно проверить. Дайте мне пару дней.

— Я дам вам день, — сказал Глеб. Он встал и положил на стол визитку. — Завтра вечером я позвоню. И если у вас появятся мысли или имена вы мне их скажете. Идет?

Он ушел, не дожидаясь ответа. Дверь хлопнула. Бармен на секунду оторвался от телевизора, посмотрел на Кирилла и снова отвернулся. Кирилл остался один с пустым стаканом, с чужой запиской и с ощущением, что мир, в котором он жил, только что треснул, как стекло.

Он сказал: «Ты можешь».

Кто он? Данилов? Данилов говорил о Проводнике. О том, что он знает, чего ты хочешь. О том, что он ведет. Неужели он ведет к этому? К петле? К смерти?

Кирилл скомкал записку и сунул в карман. Встал. Бросил деньги на стойку. Вышел под дождь.

Город встретил его холодом и ветром. Дождь кончился, но воздух был сырой, пропитанный влагой, как губка. На асфальте блестели лужи. В окнах домов горел свет, желтый, теплый, чужой. Кирилл шел по пустому проспекту и думал о том, что теперь у него есть враг. Или союзник. Или и то и другое. Человек по имени Данилов, который знает имя сигнала. И человек по имени Глеб, который ищет убийцу или самоубийцу, но в любом случае ищет правду.

И где-то между ними он сам. С графиком в компьютере. С вопросом, на который нет ответа. С паузой, которую нужно выдержать.

Он ускорил шаг. Дом был уже близко. Завтра он поговорит с Даниловым. Завтра он узнает правду. А сегодня, сегодня ему нужно было просто прийти. Просто переступить порог. Просто увидеть Веру и, может быть, впервые за долгое время, сказать ей правду. Всю правду. Без утайки.

Но когда он открыл дверь, в квартире было темно. Вера спала или делала вид, что спит. Он не стал ее будить. Прошел в кабинет и сел за компьютер. Включил монитор. Открыл файл с графиком. Маленький всплеск: ноль-семь секунды до осознания. Теперь он смотрел на него иначе. Не как на научную аномалию. Не как на оправдание. А как на улику.

Где-то в городе человек по имени Данилов, возможно, смотрел сейчас в такой же монитор. Или в глаза очередного испытуемого. Или в глаза очередной жертвы. И говорил: «Ты можешь». И люди верили.

Кирилл закрыл файл. Открыл письмо. Перечитал адрес. Пятница. Он будет там. Он узнает все.

А пока ждать.

За окном начинался новый дождь.

Ночь опустилась на город, как опускается на глаза уставшего человека тяжелая, больная пелена, не приносящая отдыха, лишь меняющая регистр утомления с дневного на ночной. Кирилл сидел в кабинете, не зажигая света. Монитор давно погас, перейдя в спящий режим, и только маленький зеленый огонек на системном блоке пульсировал в такт какому-то внутреннему ритму или это просто казалось? В темноте всё кажется живым. В темноте вещи дышат. В темноте голос звучит громче.

Он думал о Кравцове. О мальчике, которого он никогда не видел, но чья смерть теперь лежала на его столе не буквально, но по существу. Двадцать три года. Студент-физик. Талантливый говорят. И строчка в записке: Он сказал: «Ты можешь». Кто сказал? Какой голос? Тот самый, который звучал в голове десятилетней Веры на пепелище? Тот самый, который опережал сознательное решение на ноль-семь секунды? Тот самый, которому Данилов дал имя Проводник, и теперь это имя, как вирус, расплодилось по сознанию Кирилла, заражая всё, к чему прикасалось?

Он попытался восстановить цепочку. Кто-то использовал «Петлю». Не он. Кто-то, имеющий доступ к технологии. Кто-то, кто знал о вторичном сигнале. Кто-то, кто, возможно, знал о нем раньше, чем сам Кирилл. Данилов? Он говорил о сигнале так, будто знал его всегда. Он говорил о Проводнике как о старом знакомом. Он пришел в лабораторию не для того, чтобы поздравить с открытием. Он пришел, чтобы убедиться, что Кирилл открыл именно то, что нужно.

Но что нужно? Зачем Данилову «Петля»? Зачем ему испытуемые? И почему один из них мертв?

Кирилл встал и подошел к окну. Дождь то начинался, то затихал, словно сам не мог решить, хочет ли он продолжаться. Город внизу жил своей ночной жизнью: фары машин, редкие прохожие, светофоры, мигающие желтым на пустых перекрестках. Где-то там, в одной из

квартир, висело тело двадцатитрехлетнего студента, сейчас уже снятое, увезенное, зафиксированное в протоколах. Но запах, наверное, остался. И предсмертная записка. И вопрос: кто сказал «ты можешь»?

Он закрыл глаза и попытался представить себе этого парня. Не лицо, лицо он не знал. А состояние. Вот он сидит в своей комнате, один. Вот он слышит голос, не внешний, внутренний. Голос говорит ему, что он может. Что он свободен. Что единственное, что отделяет его от настоящей жизни, — это страх. Что страх нужно переступить. Что за страхом — пустота, и в этой пустоте — покой. И мальчик верит. Потому что голос звучит убедительно. Потому что голос знает его слабые места. Потому что голос — это он сам. Или кажется, что сам.

Кирилл открыл глаза. За окном мигнул и погас фонарь, один из тех, что стояли вдоль проспекта. Теперь улица стала темнее, и лужи на асфальте больше не блестели. Они просто были, черные провалы в ткани города.

Он подумал о Вере. О том, что она сказала утром. «Ты ищешь алиби. Ты хочешь, чтобы кто-то внутри тебя взял на себя ответственность за ту ночь». Она была права. Но что, если она была права не только о нем? Что, если все, кто слышит этот голос, ищут алиби? И что, если Данилов предлагает им именно это — освобождение от ответственности, от вины, от мук выбора? «Ты не выбираешь. Ты следуешь. Ты не можешь быть виноват. Ты свободен».

Свободен. Какое страшное слово.

Он отошел от окна и включил настольную лампу. Свет резанул по глазам. Он зажмурился, потом привык. Достал из кармана смятую визитку Глеба. Повертел в пальцах. Потом взял телефон и набрал номер.

Гудки шли долго. Кирилл уже решил, что никто не ответит, когда в трубке раздался голос, хриплый, недовольный, но отчетливый:

— Острогорский.

— Это Кирилл. Тот, из бара.

— Я помню. Что-то случилось?

— Мне нужно с вами поговорить. Не по телефону.

Пауза. Кирилл слышал, как на том конце провода что-то скрипнуло, может, стул, может, кровать. Глеб, кажется, не спал. Или спал, но проснулся мгновенно, как просыпаются люди, привыкшие к ночным звонкам.

— Где вы?

— У себя.

— Адрес.

Кирилл продиктовал адрес. Глеб записал или сделал вид, что записал, и сказал:

— Буду через сорок минут. Ждите.

Гудки.

Кирилл положил телефон на стол и оглядел кабинет. Разбросанные бумаги. Книги по нейробиологии, философии, квантовой физике. Пустая кофейная чашка. График на мониторе, если включить экран, он все еще там, этот маленький всплеск, этот тихий голос, который опережает сознание. Он подумал: «Я покажу ему. Я покажу ему всё. Может быть, тогда он поймет. Может быть, тогда я пойму».

Он вышел в коридор. В спальне горел ночник, слабый, янтарный свет. Вера не спала. Она сидела в кровати, прислонившись к спинке, и держала в руках блокнот. Тот самый. С рисунком. С надписью «Страж». Она подняла глаза на Кирилла, и он увидел, что она плакала. Не сейчас, слезы уже высохли, но веки были припухшие, и взгляд был тяжелый, как после долгой внутренней работы.

— Ты не спишь, — сказал он.

— Я ждала тебя.

— Прости. Я был...

— Где ты был?

Он сел на край кровати. Взял ее руку. Рука была холодная, как всегда, — у нее всегда были холодные руки, даже летом. Он согревал их в своих ладонях, и этот жест был старым, привычным, почти ритуальным. Как поцелуй в макушку. Как чашка кофе по утрам.

— Я был в баре, — сказал он. — А до этого в лаборатории. А до лаборатории я встретил человека, который знает о сигнале больше, чем я. И еще одного, который расследует смерть парня, участвовавшего в тестировании «Петли». И я не знаю, что со всем этим делать.

Она слушала молча. Не перебивала. Не задавала вопросов. Просто слушала, и лицо ее менялось, не сильно, почти незаметно, но он знал ее достаточно, чтобы заметить. Тень прошла по лбу. Уголки губ опустились. Глаза сузились. Она обрабатывала информацию медленно, тщательно, как обрабатывала всё, к чему прикасалась.

— Расскажи мне, — сказала она. — Всё с самого начала.

И он рассказал.

Он рассказал о том, как впервые увидел сигнал. О сорока прогонах. О лаборанте, который сказал: «Это кто-то». О Данилове, который пришел утром и говорил о Проводнике. О Кравцове, который повесился, оставив записку о голосе, который сказал ему: «Ты можешь». О Глебе, который искал связь между смертью студента и «Петлей». О письме с адресом. О пятнице. Обо всем.

Когда он закончил, в комнате было тихо. Только дождь шуршал за окном, снова начался, мелкий, нудный, бесконечный дождь. Только часы на стене тикали, отсчитывая секунды, которые складывались в минуты, которые складывались в часы, которые, в свою очередь, складывались в жизнь.

Вера молчала долго. Потом выпустила его руку, взяла блокнот и протянула ему. Он открыл. Там был рисунок — лицо, проступающее из-под позднего слоя. Печальное. Понимающее. Ждущее. И подпись: «Страж».

— Это то, что я нашла сегодня, — сказала она. — Под бесом. Под тремя веками краски. Тот, кто стоит между. Кто не говорит «да» и не говорит «нет». Кто ждет.

— Чего ждет?

— Нас. Тебя. Меня. Этого мальчика, который умер. Всех, кто слышит голос и не знает, что с ним делать.

Кирилл долго смотрел на рисунок. Потом перевел взгляд на жену.

— Ты слышишь его, — сказал он. — Ты всегда слышала.

— Да.

— И что ты делаешь?

— Я жду. Я говорю «нет». Я работаю. Я живу. Я не даю ему победить. Но и не пытаюсь его убить. Потому что убить его значит, убить часть себя. Может быть лучшую часть.

— Лучшую? — он не поверил. — Голос, который подталкивает тебя к злу, — лучшая часть?

— Не к злу. К свободе. Он говорит: «Ты можешь». Он говорит: «Ты не обязан». Он говорит: «Переступи». И иногда это правда. Иногда действительно нужно переступить. Через страх. Через ложь. Через чужое мнение. Через свою собственную слабость. Но он не говорит, через что нельзя переступать. Он просто зовет. А решение — за мной. И это и есть свобода. Не отсутствие голоса. А способность ему отвечать.

Он смотрел на нее и думал, что за двенадцать лет так и не узнал ее до конца. Она всегда казалась ему спокойной, уравновешенной, почти отрешенной. А она все эти годы вела войну. Каждое утро. Каждый час. Каждую минуту. И не проиграла. Но и не победила. Потому что в этой войне нельзя победить. Можно только держать строй.

— Я боюсь, — сказал он.

— Я тоже, — сказала она.

И это было лучшее, что она могла сказать. Не «все будет хорошо». Не «я с тобой». Не «ты справишься». Просто «я тоже». Потому что страх, разделенный на двоих, становится легче. Не исчезает, но перестает быть невыносимым.

В дверь позвонили.

Кирилл встал и пошел открывать. На пороге стоял Глеб в том же мятом пальто, с тем же тяжелым взглядом из-под нависших бровей. От него пахло дождем, чаем и еще чем-то, может табаком, может просто усталостью.

— У вас мокро, — сказал он вместо приветствия.

— Это дождь.

— Я заметил.

Он вошел, стряхнул капли с воротника и огляделся. Вера вышла в коридор, и Глеб кивнул ей сдержанно, но не враждебно. Они не были представлены, но он уже знал, кто она. Видимо, навел справки. Или просто догадался — такие, как Глеб, догадываются обо всем раньше, чем им скажут.

— Пойдемте на кухню, — сказал Кирилл.

Они сели за стол. Вера поставила чайник и осталась стоять у плиты, не вмешиваясь, но и не уходя. Глеб достал из портфеля папку и положил на стол.

— Кравцов, — сказал он. — Я поднял его дело. Точнее, то, что есть. Его нашли три дня назад. Соседи вызвали полицию, когда заметили запах. Он висел в петле, сделанной из электрического шнура. Предсмертная записка на столе. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что писал он. Никаких следов борьбы. Никаких признаков насилия. Самоубийство.

— Но? — спросил Кирилл.

— Но за две недели до смерти он участвовал в каком-то исследовании. Мы нашли его дневник. Он вел записи. Последняя запись за день до смерти.

Он достал из папки ксерокопию. Почерк тот же, неровный, дерганный. Но здесь он был спокойнее. Как будто человек, писавший это, еще держался.

«Сегодня был пятый сеанс. Он говорит, что я делаю успехи. Что я уже почти не боюсь. Что скоро я смогу услышать его без аппарата. Что это как учиться плавать — сначала держишься за бортик, потом отпускаешь. Я спросил: а что, если я утону? Он засмеялся и сказал: ты не утонешь. Ты наконец-то поплывешь».

— Кто он? — спросил Кирилл.

— Я надеялся, что вы скажете.

Кирилл перечитал запись. «Пятый сеанс». «Без аппарата». «Услышать его». Он знал только одного человека, который говорил о голосе так, как о чем-то, что можно услышать, с чем можно подружиться, чему можно научиться. Данилов.

— Кажется, я знаю, — сказал он. — Но мне нужно проверить.

— Проверьте. У вас есть день. — Глеб взял со стола печенье, повертел в пальцах и положил обратно. — Я не могу возбудить дело на основании дневника. Формально — самоубийство. Несчастный случай. Парень не справился с учебой, парень был неуравновешен, парень что-то там принимал. Но я чую здесь другое. Здесь система. Кто-то находит таких, как Кравцов. Талантливых. Неуравновешенных. Одиноких. И предлагает им услышать голос. А потом они умирают.

— Не все, — сказал Кирилл. — Данилов говорил, что у него есть адепты. Люди, которые научились жить с голосом.

— Данилов? — Глеб поднял бровь. — Это имя?

— Да. Аркадий Борисович Данилов. Бывший профессор этики. Основатель движения «Либеро». Он пришел ко мне сегодня утром. Он знает о сигнале. Он называет его Проводник. Он говорит, что помогает людям его услышать.

Глеб достал блокнот, маленький, замусоленный, и записал имя. Потом поднял глаза на Кирилла.

— Где его найти?

— В пятницу. Он пригласил меня на семинар. Закрытый. По адресу... — Кирилл достал телефон, нашел письмо и прочитал адрес вслух.

Глеб записал. Потом закрыл блокнот и убрал в карман.

— Я не буду вам говорить «не ходите», — сказал он. — Потому что вы все равно пойдете. Но когда пойдете, держите ухо востро. Этот человек — он не просто философ. Он играет в опасные игры. И люди в этих играх умирают.

— Я знаю.

— Знали бы не пошли бы. Но вы пойдете. — Глеб встал и взял со стола печенье, которое до этого вертел. — Я пойду. Завтра созвонимся.

Он кивнул Вере и вышел. Хлопнула дверь. Кирилл остался сидеть за столом, глядя на ксерокопию дневника.

«Ты наконец-то поплывешь».

Кравцов поплыл. И утонул. Или его утопили. Или он сам, заслушавшись голоса, потеряв страх, отпустив бортник, ушел на глубину и не вернулся.

Вера села рядом. Взяла его руку.

— Ты пойдешь туда? — спросила она.

— Да.

— Я с тобой.

— Нет.

— Почему?

— Потому что ты — мой бортик, — сказал он. — Если я начну тонуть, мне нужно будет за что-то держаться. Ты будешь здесь. Ты будешь ждать. Этого достаточно.

Она долго смотрела на него. Потом кивнула.

— Хорошо. Но обещаю тебе одну вещь.

— Какую?

— Когда ты услышишь голос, а ты его услышишь, рано или поздно, — не отвечай сразу. Подожди. Сделай паузу. Хотя бы полсекунды.

— Всего полсекунды?

— Этого достаточно, — сказала она. — Я проверяла.

Она встала и пошла в спальню. Кирилл остался на кухне. За окном занимался рассвет, серый, тусклый, но все же рассвет. Дождь наконец прекратился. Город лежал внизу, умытый и притихший, как будто ждал чего-то. Может быть пятницы. Может быть, ответа. Может быть, просто следующего дня.

Он посмотрел на ксерокопию дневника. Потом на рисунок Веры — Страж, стоящий между. Потом в окно, где над крышами вставало солнце, которого не было видно за облаками, но которое все равно было там.

— Полсекунды, — сказал он вслух. — Я подожду.

За стеной, в спальне, Вера закрыла глаза и попыталась молиться. Но вместо молитвы в голове звучал голос. Тот самый. Он молчал много лет, а теперь проснулся, как будто что-то разбудило его. Какой-то сигнал. Какой-то всплеск. Какой-то зов.

Он идет туда. Твой муж. Он идет к тому, кто знает мое имя. И ты не сможешь его удержать. Ты никогда никого не могла удержать. Ты только ждешь. Ты только смотришь. Ты только...

— Замолчи, — прошептала она.

И голос замолчал.

До поры.

Утро вторника пришло без дождя. Впервые за много дней солнце пробилось сквозь облака, робкое, неяркое, словно извиняющееся за долгое отсутствие. Город заблестел мокрыми крышами. Лужи на асфальте отражали небо, и в этих отражениях было что-то обманчивое как будто под ногами открывался второй, перевернутый мир, в котором все наоборот. В котором грешники идут направо, а праведники — налево. В котором бесы улыбаются, а ангелы плачут. В котором голос говорит не «ты можешь», а «ты должен». И никто не знает, что страшнее.

Кирилл вышел из дома рано. Он плохо спал эту ночь, может быть час, может быть два, но усталость больше не давила. Она перешла в ту фазу, когда тело уже не просит отдыха, а просто существует в режиме пониженного энергопотребления, как прибор в спящем режиме. Он шел по проспекту и смотрел на город, и город казался ему другим. Не таким, как вчера. Более резким. Более отчетливым. Как будто с него сняли слой.

Он думал о том, что Вера была права. Он искал алиби. Он хотел, чтобы кто-то внутри него этот сигнал, этот всплеск, этот Проводник взял на себя ответственность за ту ночь. За мокрую трассу. За фигуру на дороге. За движение рук. Но теперь он понимал: даже если сигнал существует, даже если он опережает сознание на ноль-семь секунды, эти ноль-семь секунды принадлежат ему. Не сигналу. Ему. И в этих ноль-семь секунды все. Вся свобода, которая у него есть. Вся ответственность. Вся человечность.

Он вошел в лабораторию. Лаборант уже был там, сидел за компьютером и просматривал данные. Кирилл сел рядом и сказал:

— Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал.

— Что?

— Найди все записи о тестировании «Петли» за последние три месяца. Всех испытуемых. Все протоколы. Все подписи. Мне нужно знать, кто еще имел доступ к технологии.

Лаборант сдвинул очки на лоб и посмотрел на него внимательно.

— Что-то случилось?

— Да. Но я пока не могу объяснить. Просто сделай это.

— Хорошо. Но это займет время.

— У нас есть время до пятницы.

Лаборант кивнул и отвернулся к монитору. Кирилл встал и подошел к окну. Солнце поднялось выше, и теперь лучи падали на мокрый асфальт, заставляя его сиять. Город просыпался. Машины ползли по проспекту. Люди спешили на работу. Где-то в этом городе человек по имени Данилов готовился к пятничному семинару. Где-то следователь по имени Глеб перечитывал дело Кравцова. Где-то женщина по имени Вера стояла на лесах перед древней фреской и смотрела в лицо, которое проступало из-под слоя краски. И все они думали об одном и том же. О голосе. О выборе. О паузе.

Кирилл достал телефон и открыл письмо от Данилова. Перечитал адрес. Пятница. Он будет там. Он услышит то, что скажет Проводник. И он ответит. Но не сразу. Он подождет. Полсекунды. Или больше. Столько, сколько потребуется.

Потому что свобода — это не отсутствие голоса. Свобода — это пауза перед ответом.

И он еще не решил, что ответит.

Вторник перевалил за полдень, когда Кирилл наконец оторвался от бумаг и понял, что забыл поесть.

Он сидел в лаборатории с восьми утра, просматривая протоколы тестирования «Петли» за последние три месяца. Лаборант, фамилия его была Снегирёв, но все звали его просто Снегирь за манеру нахохливаться, когда он нервничал, скинул ему на почту архив, и Кирилл погрузился в него с головой. Списки испытуемых. Графики. Подписи. Отметки о допуске. Всё было вроде бы в порядке, стандартные формы, стандартные процедуры, но чем дольше он смотрел, тем больше ему казалось, что он смотрит не на научные документы, а на шифровку, ключ к которой ему пока не дали.

Кравцова в списках не было. Это он проверил в первую очередь. Ни в основных, ни в резервных, ни в отбракованных. Студент-физик по фамилии Кравцов не проходил тестирование «Петли», во всяком случае, официально. Но Глеб сказал, что он был в списке. Значит, существовал другой список. Параллельный. Теневой. Кто-то вел его за спиной Кирилла и вел, судя по всему, давно.

Он отодвинул ноутбук и потер глаза. В висках стучало. Кофе, выпитый час назад, больше не бодрил, он просто поддерживал существование, как капельница поддерживает жизнь в тяжёлобольном. За окном светило солнце, редкое, октябрьское, почти забытое. По стеклу ползла муха, сонная, вялая, не понимающая, что осень, что пора умирать. Кирилл смотрел на нее и думал о том, что муха не знает, что она умрет. Или знает? Что вообще знают мухи? Исследовали ли их мозг?

Он поймал себя на том, что завидует мухе. У нее триста тысяч нейронов. У человека — восемьдесят шесть миллиардов. Триста тысяч — это просто. Это обозримо. Это можно картографировать, описать, понять до конца. Восемьдесят шесть миллиардов — это вселенная. И в этой вселенной затерялся сигнал, который он ищет.

— Снегирь, — позвал он.

Лаборант оторвался от своего монитора и нахохлился в прямом смысле: плечи поднялись, голова ушла в них, как у птицы в холод.

— Да?

— Ты знаешь, сколько нейронов в мозге мухи?

— Триста тысяч, кажется. А что?

— А у человека?

— Восемьдесят шесть миллиардов. Примерно.

— Примерно, — повторил Кирилл. — Мы не знаем точно. Мы даже не знаем, сколько их на самом деле. Мы считаем их уже сто лет и до сих пор ошибаемся на миллиарды. Ты понимаешь, что это значит?

Снегирь снял очки и начал их протирать. Он всегда протирал очки, когда не знал, что ответить. Кирилл знал эту привычку и обычно ждал, пока она пройдет, но сегодня ждать не хотелось.

— Это значит, — продолжал он, не дожидаясь ответа, — что мы изучаем самый сложный объект во Вселенной. Сложнее, чем галактики. Сложнее, чем черные дыры. Сложнее, чем всё, что мы знаем. И мы даже не можем сказать, сколько в нем деталей. Мы как картографы, которые пытаются нарисовать карту континента, не зная его размеров. И при этом...

— При этом? — переспросил Снегирь.

— При этом мы уже делаем выводы. Мы говорим: свободы воли нет. Мы говорим: решение принято за ноль-семь секунды до осознания. Мы говорим: человек — это биомашина. А на чем основаны эти выводы? На экспериментах, в которых испытуемый нажимает кнопку. Левая или правая. Ноль или единица. Выбор без последствий. Выбор без морали. Выбор без жизни.

Он встал и подошел к доске, висевшей на стене. Доска была белая, маркерная, и на ней еще оставались следы вчерашних формул, дифференциальные уравнения, графики активации, временные ряды. Кирилл взял маркер и нарисовал посередине жирную точку.

— Вот. Это — решение. Простое, бинарное. Левая кнопка или правая. Такие эксперименты ставили Либет, Сун, все, кто занимался свободой воли. Они зафиксировали потенциал готовности, медленное нарастание электрической активности в мозге за несколько сотен миллисекунд до осознанного действия. И сделали вывод: мозг решает раньше, чем мы осознаем. Следовательно, свободы нет.

— Но это же правда, — осторожно сказал Снегирь. — Мы тоже зафиксировали. У нас даже точнее — ноль-семь секунды. Это же...

— Это правда, но не вся. — Кирилл обвел точку кругом. — Либет ставил эксперимент в тысяча девятьсот восемьдесят третьем. Ты знаешь, что он сам не верил в свой вывод?

— Как это?

— Он не был детерминистом. Он считал, что у сознания есть право вето. Что мозг предлагает решение, но сознание может его отменить. В последние двести миллисекунд. В зазоре. Он так и назвал это — «veto power». Право запрета.

Снегирь надел очки. Потом снял. Потом снова надел. Он явно не знал, что делать с этой информацией. Кирилл понимал его: они оба учились на учебниках, где эксперимент Либета подавался как доказательство отсутствия свободы воли. Им не рассказывали, что сам Либет думал иначе.

— Почему нам этого не говорили? — спросил Снегирь.

— Потому что это неудобно. Детерминизм проще. Сказать «у нас нет свободы» проще, чем сказать «у нас есть двести миллисекунд на то, чтобы передумать». Первое — приговор. Второе — ответственность. Люди не любят ответственность.

Он отошел от доски и снова сел. Муха на стекле перестала ползти и замерла, может умерла, может просто уснула. Солнце сдвинулось и теперь светило прямо в глаза. Кирилл прикрыл веки и продолжил говорить — медленно, как будто сам с собой.

— Есть еще эксперимент Хейнса. Две тысячи восьмой год. Он использовал ФМРТ — функциональную магнитно-резонансную томографию. И обнаружил, что активность в префронтальной коре может предсказывать выбор за семь секунд до осознания. Семь секунд, Снегирь. Не ноль-семь. Семь. Это вечность. Если Хейнс прав, то мы вообще ничем не управляем. Мы — пассажиры. Мы смотрим фильм, в котором всё уже снято.

— И что это правда?

— Не знаю. Хейнса критиковали. Говорили, что его данные — статистический артефакт. Что ФМРТ — слишком грубый инструмент. Что предсказание на семь секунд — это не предсказание, а корреляция. Но знаешь, что самое интересное? Хейнс не остановился. Он продолжил. И в две тысячи тринадцатом поставил эксперимент, в котором испытуемые могли отменить решение в последний момент. Как у Либета — право вето. И знаешь, что он обнаружил?

— Что?

— Что сознание действительно может отменить решение. Что в момент отмены в мозге активируется другая зона — передняя островковая доля. Она отвечает за самосознание, за эмоции, за ощущение «я». И она срабатывает в тот самый зазор между импульсом и действием. Хейнс сказал: «Свобода — это не начало действия. Свобода — это возможность его остановить».

Снегирь молчал. Он смотрел на доску, на точку в круге, на формулы, которые больше не казались ему просто формулами. Что-то в его лице изменилось — может быть, он впервые задумался о том, что их работа имеет отношение не только к графикам и публикациям, но и к тому, кто они такие.

— А наш сигнал? — спросил он. — Тот вторичный? Это и есть потенциал готовности? Или что-то другое?

— Не знаю, — сказал Кирилл. — Потенциал готовности — это медленное нарастание. Он начинается за секунду, за две. А наш сигнал — короткий, резкий. Он больше похож на команду. На приказ. Как будто кто-то говорит: «Давай». И мозг отвечает: «Есть».

— Кто говорит?

— Вот это я и хочу выяснить.

Он открыл глаза. Муха на стекле исчезла, может ожила и улетела, может упала на подоконник. Солнце сместилось еще немного, и теперь на стене кабинета дрожал световой зайчик — отражение от стекла соседнего корпуса. Кирилл смотрел на него и думал о том, что свет тоже когда-то считали частицей. Потом — волной. Потом и тем и другим одновременно. А теперь физики говорят, что свет — это возбуждение квантового поля. И никто до конца не понимает, что это значит. Но свет от этого не перестает светить.

Может быть с сознанием та же история. Может быть мы никогда не поймем его до конца, но это не значит, что его нет. И не значит, что у нас нет выбора.

— Снегирь, — сказал он. — Ты нашел что-нибудь в протоколах?

— Пока нет. Но я нашел кое-что другое. — Снегирь развернул к нему монитор. — Смотрите. Это логи сервера. Кто-то скачивал данные тестирования. Регулярно. Раз в неделю. Внешний адрес.

— Чей адрес?

— Я пробил. Это анонимайзер. Но я могу попробовать отследить...

— Отследи. Это важно.

Снегирь кивнул и отвернулся к монитору. Кирилл смотрел на экран, на строчки логов, на IP-адреса, которые ничего ему не говорили, но за которыми стоял кто-то, конкретный человек или группа людей, кто знал о сигнале и использовал его. Может быть Данилов. Может быть кто-то еще. Может быть организация, о которой Кирилл даже не слышал.

Он встал и прошелся по лаборатории. Мысли крутились в голове, как шестеренки в часах — каждая цеплялась за другую, и вместе они создавали движение, направление которого он пока не понимал.

— Снегирь, — сказал он, останавливаясь у окна. — Ты когда-нибудь слышал о Финейсе Гейдже?

— Это тот, у которого прут прошел через голову?

— Да. Железнодорожный рабочий. В тысяча восемьсот сорок восьмом году при взрывных работах металлический штырь пробил ему череп. Вошел под левой скулой, вышел через лоб. Диаметр — три сантиметра. Длина — больше метра. Гейдж выжил. Мало того — он был в сознании через несколько минут после травмы. Он разговаривал с врачами. Он шутил. Он говорил: «Вот, доктор, вам есть над чем поработать».

— И что с ним стало?

— Он выздоровел. Физически. Но его характер изменился полностью. До травмы он был ответственным, уравновешенным, трудолюбивым. После — стал импульсивным, агрессивным, неспособным принимать решения. Друзья говорили: «Это больше не Гейдж». Его уволили. Он стал бродягой. Умер через двенадцать лет.

Кирилл повернулся к Снегирю. Тот слушал, забыв про очки.

— Знаешь, что самое важное в этой истории? Гейдж не стал злым. Он не стал аморальным. Он просто перестал выбирать. Он не мог удержаться от импульса. Любой порыв немедленно становился действием. Он хотел ударить и бил. Хотел закричать и кричал. Хотел украсть и крал. Не потому, что был плохим человеком. А потому, что у него сломалась та самая система. Зазор. Пауза. Право вето.

— Какая область мозга была повреждена?

— Орбитофронтальная кора. Префронтальная кора. Именно те зоны, которые активируются в момент отмены действия. Именно те, которые Хейнс связывал со свободой воли. Гейдж лишился не разума. Не памяти. Не речи. Он лишился способности говорить «нет». И это уничтожило его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.